

СОВРЕМЕННОИИ



SOVREMENNIIK

No. 30-31

ТОРОНТО

Издательство и Редакция :

**Sovremennik Publishing Association Incorporated
9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G 1V6**

СОВРЕМЕННОК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ
И
В. Л. САВИНЫМ

Главный редактор: Л. Е. Фабрициус

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Э. И. Боброва, Г. Н. Жекулин, Л. Е. Фабрициус

Благодарю Тебя, Творец, благодарю,
Что мы не скованы лжемудростью узкой,
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский.
Что пламенем одним с Россией я горю.

Аполлон Майков

1976

C O N T E N T S

CONTENTS IN ENGLISH	3
LEO FABRICIUS. "With the Shield". Novelette . . .	5
ALEXANDER GUIDONI. "Don Juan". Novel in verse	55
LEONARD GENDLIN. "Gubert in 'Wonderland'". . .	140
IRINA ODOEVZEVA. Poetry	145
ANDREI DRUZHININ. "I follow Gumiliov". Poetry	146
ELLA BOBROW. "To Irina Odoevzeva". Poetry. . . .	147
A. SHIMANSKAYA. Poetry	149
J. MALINOVSKAYA. Poetry	150
I. BUSHMAN. Poetry	151
Z. DUBNOV. Poetry	152
P. BALAKSHIN. "The fashionable shaman" (G.R. Grebenschikov)	153
Y. IVASK. Poetry	158
V. VORONZOVSKAYA. Poetry	160
CLAUDIA PESTROVO. Poetry	161
OLEG KOZIN. Poetry	162
A. ZVETIKOV. "The poetry of B. Nartsissov"	164
S. TOL. Poetry	166
M. MUELLER-HENNING. Poetry	167
L. KUZNETSOV. Poetry	168

T. MANDELSTAM–GATINSKAYA. Poetry	169
A. GNUT. Poetry	170
ANNOUNCEMENT RE: Publication of “History of Canada” in Russian by M. Mogiliansky	172
 C A N A D A	
E. BOBROW. “In the gleam of Northern Lights” Poetry	174
E. BOBROW. “Zola’s heritage”	176
 TRANSLATION OF POETRY	
YURI GRIGOROV. Paul Verlain	179
Gertrudis Gomez de Avellaneda	180
Enrique Gonzalez Martinez.	181
A. AKASTROV. Gustavo Adolfo Becquer	182
BOOK REVIEWS:	184
Y. IVASK. Tatiana Fessenko “Passport to the Past”. Zinaida Shakhovskoy “Reflections”. LEO FABRICIUS. Boris V. Sergievski. ALEXANDER GUIDONI. Irina Odoevzeva “A Portrait in a rhymed frame”. ELLA BOBROW. Igor Chinnov. “Pastorals”. GALINA GUIDONI–RUMIANZEVA. Tatiana Mandelstam–Gatinskaya “Flame of Life”.	
OUR NEXT ISSUE AND ITS CONTENTS	199
EDITORIAL NOTE.	200
THE NEW RUSSIAN LITERATURE STUDIES CENTRE (Announcement)	203
TO OUR READERS	204
CONTENTS (In Russian)	206

Я конквистадор в панцире железном

Н. Гумилев

Шел февраль последнего года тысячелетнего Великого Германского Рейха, холодный, снежный. Советские армии готовились к штурму Берлина, на западе немцы спешно откатывались назад после срыва рождественской операции в Вогезах. "Сумерки богов" наступали быстро...

В нашем бараке все были уверены, что это уже последний год. Радио у нас, правда, не было, но из газет, которые приносил наш вахманн Макс, видно было, как военные действия постепенно передвигались к границам Германии, переливались через них, как "великий" рейх становился все меньше и меньше.

Сомнений в скором освобождении у нас не было – война кончалась. Боялись мы только одного – немцы могли нас просто ликвидировать. Носились слухи, что при отступлении немцы полностью истребляют не только население концлагерей, но и "остарбейтеров". Ждать четыре года и погибнуть в последнюю минуту от пули пьяного эсэсовца было бы слишком досадно. В долгих ночных разговорах мы пришли к выводу, что, в случае приближения фронта, придется обезвредить охрану и куда-то "заховаться".

Свобода была близко и каждый из нас представлял ее себе по-разному. Мне лично свобода представлялась так: человек просыпается этак часов в семь утра, нежится в кровати минут десять, медленно встает, бреется, моется, завтракает и не спеша выходит за ворота. Ворота открыты, хочешь, входи, хочешь, выходи. На мне чистая, выглаженная рубашка, светло-коричневые брюки (отутюженные до пределов возможного, это разумеется само собой) и начищенные до блеска ботинки. Ботинки должны быть тоже коричневые, но, в крайнем случае, могут быть и темно-желтые. В этаким блеске и сиянии я гуляю по шоссе и никто не может загнать меня обратно в лагерь – я свободный человек!..

Дальше мои мечтания не шли: за три года полуголодного прозябания по лагерям остарбейтеров, побоев и тяжелой работы я просто разучился мечтать. Только бы покончить с лагерной жизнью, а там посмотрим.

Да никаких оснований для мечтаний и не было. Ну, хорошо, кон-

чится война. А дальше что? Возвращаться домой? Куда и к кому? Пригород Смоленска, где мы жили до войны, был сравнен с землей. Мой старший брат Юрий был убит уже на второй или третий день войны под Гродно, это мы с тетей Надей знали точно от Саши Кузнецова. Да и самую тетю Надю наверно Бог давно прибрал к себе, где ей, старенькой и с больным сердцем...

Надо бы с нашими немцами рассчитаться!..Макса я не трону, он и старый, и какой-то Богом обиженный, а вот Зигфриду я морду набью. Не посмотрю, что он однорукий, сволочь немецкая!..Однорукий, а как дрался...Теперь-то он притих, а еще в прошлом году...Меня, правда, он только один раз ударил, зато как Виктора избил!..Теперь же настоящий Сахар Медович – вчера пришел в мастерскую: "Камераден, камераден..." Ну, подожди, дай Виктору до тебя добраться!..

Зигфрид, командир танка дивизии СС "Рейх", потерял руку под Прохоровкой в июле 43 года. Об этом шаарфюрер Зигфрид Шрамм говорил неохотно. Подлечив, его назначили начальником ремонтных мастерских в Ротенбурге. Ремонтировали мы прожекторы для Люфтваффе. После каждого налета на Гамбург или Бремен нам присылали поврежденные прожекторы и моторы. Двадцать механиков и монтеров из остарбайтеров исправляли поврежденные механизмы. Работали неохотно, из-под палки. Занимались саботажем. Это было связано с большим риском: человеческие жизни в Германии ценились не слишком высоко.

Виктора Зигфрид поймал на том, что гайки на корпусе рефлектора были завинчены слабо и во время перевозки могли совершенно разболтаться. Бил он Виктора с полчаса. Тот потерял сознание; мы отнесли его в барак, положили на койку. Пришел он в себя под вечер. Парня трудно было узнать, все его лицо было оди сплошной кровоподтек. – Два зуба он мне выбил, – с трудом сказал Виктор, сплевывая сочившуюся из разбитых десен кровь. Пролежал он три дня. Я ни разу не слышал, чтобы он стонал или жаловался...

Виктор вообще был неразговорчив и мало с кем дружил. Однажды только он поинтересовался, есть ли у меня родные, и, узнав, что мой брат погиб на фронте, медленно произнес: "Ну, что же, умер хорошей солдатской смертью. А у меня и отца и брата в концлагере замучили..."

Потом, значительно позже, он рассказал мне, что его отец был профессором варшавского университета и был арестован уже в декабре 39 года. Весной арестовали брата, а через месяц мать Виктора получила из Освенцима пакет с двумя урнами с пеплом и официальным сообщением, что ее муж и сын умерли от воспаления легких.

Сам Виктор был красивым и сильным парнем, но Зигфрид перебил ему нос. Из-за выбитых зубов Виктор теперь говорил с присвистом. Он и слышать стал плохо на левое ухо.

Все это случилось перед Рождеством в 43 году, но весной сорок пятого многое изменилось. Изменился и Зигфрид. Ему тоже было яс-

но, что "война капут", и он догадывался, что "остарбайтеры" постараются свести с ним счеты.

Что было делать?..Остаться в мастерских до прихода англичан или американцев он не мог — не дожил бы. Хорошо бы где-то спрятаться, пока все немного утихнет, но бежать слишком рано было рискованно. Полевая жандармерия и отряды СС вылавливали дезертиров и вешали их безо всякого суда на придорожных деревьях, на фонарях, где попало...В Ротенбурге, на площади перед крейсхаузом, уже несколько дней раскачивались на ветру трупы двух немецких солдат, повешенных на толстых ветвях старого бука. Макс нам об этом рассказывал, когда ездил в ротенбургскую комендатуру. Знал об этом и Зигфрид.

С середины марта работа в наших мастерских почти совершенно прекратилась. Моторы и прожекторы привозили по-прежнему, но частей для ремонта не было. Целый день в мастерской мы разбирали на составные части разбитые механизмы, отделяя то, что могло пригодиться для ремонта.

Зигфрид приходил в мастерскую, часами сидел за своим столом; иногда подходил к кому-нибудь из работающих, пробовал завести разговор, угощал сигаретой. У нас все курили, табак достать было невозможно, но из двадцати человек, работавших в наших мастерских, только Ян брал сигарету у Зигфрида. Без курева Ян просто не мог жить — он и хлеб-то часто менял на табак. Все остальные, по молчаливому соглашению, отказывались от зигфридовых сигарет.

Макс в мастерские заглядывал редко, зато в наш жилой барак — почти каждый вечер. Обыкновенно он приносил с собой газету, иногда две или три сигареты, из которых одна обязательно доставалась Яну. На Пасху в прошлом году Макс ухитрился где-то достать для нас две лишние буханки хлеба и полдюжины яиц.

Военной выправкой Макс не мог похвастаться, да и вообще мало военного было в этом сутулом, пожилом человеке. В довершение всего он был очень близорук и носил очки.

Ему уже было, наверное, под пятьдесят. По профессии часовщик, он имел в Дюссельдорфе собственную мастерскую. Во время одной из бомбежек погибли и мастерская, и жена Макса...

Иногда в барак приходил Зигфрид, обычно в десять часов вечера, хмуро пересчитывал людей, так же хмуро уходил. Дверь барака заперлась снаружи и гасился свет.

После этого у нас начинались бесконечные совещания. Зигфриду было туго, но и нам — не легче. Мы давно решили, что сидеть сложа руки и ждать прихода американцев или англичан нельзя. Нас могли перестрелять и бегущие эсэсовцы, да и сам Зигфрид. Четверо вооруженных людей легко перебили бы двадцать безоружных; значит, надо было обезвредить охрану прежде, чем охрана нас "обезвредит".

Прятаться мы решили в лесу. Если не все, то хоть некоторые из нас уцелеют. Все были согласны, что следует сначала схватить Зиг-

фрида, когда он придет в барак вечером. Макс и два других немца из охраны едва ли будут сопротивляться, а Зигфриду нельзя дать возможности выстрелить или закричать, что могло бы привлечь внимание других немцев, особенно часового на вышке за баракком.

По нашему замыслу, один из нас, надев мундир и фуражку Зигфрида и вооружившись его пистолетом, должен пойти в канцелярию. У телефона всегда сидит дежурный, но другой вахманн наверняка будет спать в соседней комнате. Его ликвидирует второй из нашей группы. Больше, чем двум, идти нельзя: это может показаться подозрительным часовому на вышке, которого придется "убрать" позднее. За сменой караула мы наблюдали долго и заметили, что если сменяющий не приходил точно в одиннадцать, то часовой сам шел в канцелярию. Военно-полевой устав немецкой армии не предусматривал такого порядка при смене часовых, но вместе с "Великим Рейхом" агонизировали и его уставы.

* * *

Это произошло в самом конце апреля. Зигфрида мы не видели целый день, зато из окна мастерской хорошо были видны бесконечные толпы бредущих по дороге беженцев. В полдень пришел Макс. Передавая мне номер "Ротенбургер Крисцейтунг", он улыбнулся: "Последний номер..." Помолчал и добавил: "Все разбежались и типография тоже пустая. Никого нет."

На первой странице бросались в глаза набранные вершковым шрифтом слова: "Берлин останется немецким. Вена опять будет немецкой"...

В наш жилой барак мы вернулись в этот день еще засветло.

* * *

Целый вечер мы опасались, что Зигфрид или не придет вовсе или придет со всеми своими вахманнами, чтобы нас ликвидировать, однако он пришел один...

И не успел даже крикнуть, когда на него кинулись четверо, лежащие на нарах у самых дверей барака. Запасливые руки приготовили все: и тряпку, чтобы заткнуть ему рот, и электрический провод, чтобы связать ноги и прикрутить за спиной его единственную руку.

Мне не полагалось по плану принимать участие в схватке с Зигфридом. Зато теперь я должен был пойти в канцелярию и обезвредить двух находившихся там немцев. По росту и по фигуре я больше других напоминал Зигфрида и со сторожевой вышки, да еще в сумерках, трудно было заметить разницу. Но просто войти в канцелярию и открыть стрельбу я не мог. Дело нужно было сделать бесшумно и быстро.

Вместе со мной шел Стасек. Малорослый, но широкоплечий и гиб-

кий, как кошка, он всегда вызывал мое отвращение рассказами о своих любовных похождениях, передаваемых со всеми подробностями. Родом из Львова, он говорил на каком-то странном жаргоне, мешая польские, украинские и русские слова.

Стасеку дали кортик Зигфрида. Я надел фуражку, но пришлось обходиться без мундира: для этого надо было развязывать опутанного проволокой Зигфрида, а ждать было некогда.

Мы вышли из барака, я громко захлопнул дверь, повернул выключатель. От барака до канцелярии было метров тридцать. На дворе — ветрено и темно. По шоссе глухо громыхали какие-то повозки, доносились обрывки разговора..

* * *

Я часто пробовал точно припомнить, о чем я думал, шагая к зданию канцелярии. По-моему, это было любопытство. Не ненависть, не надежда на скорое освобождение, а именно любопытство. Так хотелось узнать, что же произойдет, когда я поднимусь по ступенькам и открою дверь.

Я хорошо представлял себе внутреннее помещение. У окна — стол с телефоном, за которым всегда сидит дежурный. Возле одной стены стойка с ружьями, у другой — большой шкаф. В следующей комнате: четыре кровати, стол, три стула. В углу стоят ящики с амуницией..

Когда я открыл дверь, дежурный даже не поднял головы: он был уверен, что это Зигфрид. Из-за моей спины Стасек кинулся в другую комнату. Только тогда дежурный взглянул на меня и увидел пистолет. — Руки вверх! — сказал я негромко, с удивлением замечая, что улыбаюсь. Вахманн поднял руки вверх; они заметно дрожали. — Что мне с ним теперь делать? — подумал я. Из соседней комнаты послышались странные булькающие звуки и какое-то сипенье. Вышедший оттуда Стасек улыбался от уха до уха, вытирая зигфридов кортик какой-то тряпкой. Я облегченно вздохнул. — Надо связать его, — сказал я Стасеку. Тот передал мне кортик, вытащил из кармана кусок проволоки и связал немцу руки. Затем мы, подталкивая его сзади, положили его на кровать рядом с убитым вахманном, связали ноги и заткнули рот той же тряпкой, которой Стасек вытирал кровь с кортика. На все это ушло минуты три-четыре. Теперь оставалось ждать, когда придет дежурный с вышки. Этим дежурным был Макс. Справиться с ним будет легко.

Время остановилось. Мы зарядили три винтовки, стоявшие на стойке. Четвертая была у Макса. Это нас подбодрило — все-таки оружие. В случае чего может пригодиться.

Часы на стене в канцелярии показывали без десяти одиннадцать. Сказав Стасеку, чтобы он оставался в помещении, я вышел и буквально прилип к стене. Через несколько минут послышались шаги — Макс. Он не испугался, увидев меня с пистолетом в руке, и беспрекословно

отдал винтовку.

Я повел его в барак. Первое, что я увидел, отворив барачные двери, был Зигфрид, медленно расквашивавшийся на веревке, свисавшей с балки. Я отвернулся — посиневшее лицо повешенного с высунутым языком выглядело ужасно.

При виде меня с Максом люди кинулись к нам. — Давай, давай проклятого фрица!.. Вздернем и его!.. Рядом с его фюрером!.. — Ошалевшие люди вырвали Макса из моих рук. Это был критический момент. — Не дам Макса, — крикнул я на весь барак. — Он никогда ничего плохого не делал. Кто нам хлеб приносил? Кто Яну сигареты давал?! — Я кинулся к поляку, уже успевшему накинуть Максy петлю на шею. — Сними веревку! — А ты что за командир?.. — огрызнулся он. — Смотри, самого повесим, раз ты за немцев!.. — Дулом пистолета я ударил говорившего в зубы. Он отшатнулся и отошел, что-то злобно бормоча и вытирая кровь. — Вот что, — сказал я. — Макса я не дам! Понятно?.. И не советую пробовать!.. — Пистолет в моей руке, отсвечивавший черно-синей сталью в свете лампочки, был убедительным аргументом. — Чего вы все ждете, дураки?!.. Эсэсовцев дожидаетесь?.. Проволоку идите резать и смывайтесь к чертовой матери!..

Барак медленно опустел. Макс все еще стоял неподвижно. — Макс, я ухажу, советую и тебе где-нибудь спрятаться, если не хочешь здесь оставаться. — Спасибо, Владимир! — в глазах его были слезы. — Если бы не ты... — Макс вздрогнул и посмотрел на Зигфрида. — Я тоже пойду, у меня здесь знакомый есть, в двух километрах. Я у него спрячусь...

* * *

Двое суток скрывался я в стогe сена, на поляне в лесу, прислушиваясь к артиллерийской канонаде. Она то разгоралась, то затихала. Ей вторил грохот грузовиков с шоссе и лязг танков.

Я был зверски голоден и меня трясла лихорадка. На третий день, когда стрельбы почти не стало слышно, я перебрался к дороге и начал наблюдать за ней из-за пропыленных насквозь кустов. Бесконечной вереницей тянулись танки, но были они ниже немецких и не темно-зеленые, а скорее желтоватозеленые. Люк одной из машин приоткрылся; оттуда высунулась голова танкиста в берете. Затем он встал во весь рост, и — о радость! — на нем был мундир *желтого* цвета. Какуюсь, никогда не любил желтый цвет, а тут готов был заплясать от счастья, не будь я так слаб. — Англичане! Это англичане! — Я выбрался из кустов, перелез через какую-то канаву, споткнулся и упал во что-то мазутно-грязное. Когда я, наконец, добрался до самого шоссе, вид у меня был, вероятно, и смешной и жалкий. Колонна как раз замедлила движение. Танкист-англичанин, видный в своем танке по поясу, встретившись со мной взглядом, рассмеялся, скрылся в люке, появился опять и бросил мне плитку шоколада.

Танки пошли быстрее. Я подобрал шоколад, сел на обочине шоссе и заплакал...

* * *

—Хорошо, летите послезавтра. Можно было бы Дженкинса послать, но уж очень скоро он все решает. Ничего не поделаешь, я и сам был молод. Тоже все сразу решал и тоже ошибался. Да, кстати, снимите все работы, мы на совещании директоров поговорим. Вопросы есть? —Нет, все ясно. —Отлично. Увидимся, значит, во вторник. Если что очень серьезное, звоните. Желаю успеха!.. —Спасибо, Джефф...

Сердце у Джеффа уже третий год пошаливает. Доктора его много раз предупреждали, что надо снизить темпы, но он не может остановиться, да и не хочет. —Я не могу не работать. В работе я живу. Перестану работать, значит, перестану существовать... — Спорить с ним бесполезно...

Лет тридцать тому назад Джефф унаследовал после отца небольшой завод электрических моторов. Предприятие все время стояло на грани банкротства, но отец Джеффа не хотел и слушать о каких-либо нововведениях — он был так же упрям, как и его сын.

Только сыновнее упрямство оказалось перспективнее. После смерти отца Джефф три года работал, проводя на заводе дни и ночи, одержимый одной мыслью — спасти предприятие. Завод для него стал целью жизни, дорогим существом, больным ребенком, которого нужно было выводить во что бы то ни стало.

На четвертый год кривая производства медленно, но уверенно поползла вверх...

В сентябре 1939 года началась Вторая Мировая война, а в октябре Джефф получил первый заказ на моторы для подводных лодок нового типа.

Летом сорок пятого года в американских портах высаживались солдаты, возвращавшиеся домой. Имя Джеффа упоминалось в числе пяти самых богатых людей Соединенных Штатов. Его творческий дух создал промышленную империю "Кирклэнд Дженерал Моторс".

* * *

Волна эмиграции выхлестнула меня на американский берег под Рождество сорок седьмого года — самое грустное Рождество в моей жизни. Даже в лагере остовцев можно было с кем-то поговорить, помечтать, а здесь...Поговорить было не с кем. С деньгами туго — хуже и не придумаешь.

Осенью следующего года я записался на вечерние курсы английского языка. Было очевидно, что если я не овладею английским, то я всю жизнь так и останусь на месте своей первой работы: грузчиком на заводе. Это значило: пять дней "вкалывания" в неделю, пьянка и возможная драка в субботу и опохмел в воскресенье...Нет, этого я не хочу!..

Английский дался мне довольно легко и когда я пошел на вечерние курсы черчения в той же школе, я владел им настолько, что понимал почти все в объяснениях преподавателя.

Пришлось купить чертежную доску, лампы, приборы для черчения, но денег не было жалко — я радовался, когда четкие линии чертежа аккуратно ложились на плотную матовую бумагу. Огорчали меня мои руки: за время моей работы грузчиком они огрубели, превратились в неуклюжие лапы, не всегда повиновавшиеся моим желаниям.

...Когда я иду к начальнику нашего конструкторского бюро, я прохожу через комнату чертежников, вернее, через большой зал, где у третьего окна слева все еще стоит тот самый стол, за которым некогда начиналась моя карьера — карьера вице-президента "Кирклэнд Дженерал Моторс" Уолтера Мэккэроу — бывшего бездомного остовца из Смоленска Володи Макарова...

Странна человеческая судьба — сцепление обстоятельств, необдуманных, непредвиденных. Мог ли я предположить, что день, когда я попросил разрешения пользоваться для работы библиотекой конструкторского бюро станет едва ли не переломным днем моей жизни? Но именно так оно было.

И опять же, если б я не заинтересовался техникой строительства турбин, над чертежами которых мы тогда работали, я никогда бы не рискнул подойти к начальнику конструкторского бюро с просьбой насчет библиотеки, в которой занимались только инженеры, работавшие в бюро, специалисты-технологи — полубоги, обсуждавшие проекты с самим мистером Кирклэндом.. Дело чертежников состояло в том, чтобы точно и аккуратно перенести проектные данные на бумагу. Часто, вычерчивая какую-нибудь деталь, я лишь смутно мог догадываться о ее роли в законченном проекте.

Когда я изложил свою просьбу мистеру Симпсону, начальнику конструкторского бюро, он пристально посмотрел на меня, слегка улыбнулся и сказал: "Хорошо, идите в библиотеку и скажите мистеру Уаттсу, что я дал вам разрешение".

Мистера Уаттса служащие прозвали "компьютером". Я слышал что-то об автомобильной катастрофе, в которой погибла жена Уаттса, а сам он был тяжело ранен и потерял левый глаз, но за два года моей работы в "Кирклэнд Дженерал Моторс" я с ним никогда не встречался и почему-то представлял его пожилым человеком маленького роста, говорящим к тому же неприятным, скрипучим голосом, — таким типичным библиотекарем...

Когда я вошел в библиотеку, там никого не было, кроме высокого широкоплечего человека, стоявшего ко мне спиной и снимавшего книгу с полки. —Мистер Уаттс? — нерешительно спросил я, подходя к нему. —Да, я Уаттс, — ответил он, оборачиваясь. На меня глядело лицо

пирата, изуродованное шрамами. Один — пересекавший наискосок лоб, уходил под повязку на левом глазу, затем как бы выныривал из-под нее, пересекал скулу и кончался под ухом. На правой половине лица виднелись два шрама покороче, идущие от уха к скуле. Единственный глаз, большой и серый, смотрел на меня изучающе-спокойно.

— Я — Уолтер Мэккэроу. Я работаю в чертежном отделении. Мистер Симпсон сказал, что я могу пользоваться библиотекой, — произнес я заранее приготовленную фразу, не отводя взгляда от лица, можно сказать, изуродованного, но все-таки молодого и даже красивого по-своему.

— Хорошо. Вы хотите пользоваться книгами для справок или вас интересует какой-нибудь определенный вопрос? — Я хотел бы узнать побольше о турбинах. Мы сейчас работаем над деталями, а о турбинах я почти ничего не знаю, так я думал... — Пожалуйста. Я вам даже могу посоветовать, с чего начать. — Уаттс отошел в угол зала и вернулся с двумя книгами. — Вот, почитайте. Это, конечно, я бы сказал, популярное изложение предмета, но обе книги кое-что дадут читателю.

Я взял книги и начал читать. Через несколько минут стало ясно, что ничего из написанного я не понимаю. Все, о чем автор вещал как об известных истинах, мне было абсолютно неизвестно. Я вдруг понял, почему мистер Симпсон улыбался, когда я попросил разрешения заниматься в библиотеке.

Мой обеденный перерыв подходил к концу, надо было идти назад, в чертежную. Когда я возвращал книги мистеру Уаттсу, он сказал, кладя их на полку за его письменным столом: "Если меня здесь не будет, то ваши книги вот тут. В обеденный перерыв я иногда ухожу."

Весь вечер я просидел дома, напряженно думая. Надо было признаться, что я совершил большую глупость. Ведь я забыл математику и физику. Куда же меня, полуграмотного дурака-чертежника, понесло? Так мне, идиоту, и надо!..

Нет, завтра нужно пойти к Уаттсу, поблагодарить его и сказать, что в книгах больше не нуждаюсь. Да, за полчаса узнал все, что хотел знать о турбинах... Ах, дурак, дурак!..

Я долго ворочался в постели. И на кой лих сдались мне эти турбины?!.. Уаттс, наверно, спросит Симпсона, что это за чудаки приходят в библиотеку за просвещением, а Симпсон улыбнется и скажет, что он нарочно дал ему, мне, возможность убедиться, что чертежнику в библиотеке делать нечего. Оба засмеются, этим все дело и кончится. Возможно, Уаттс и не засмеется — лицо у него не улыбочивое...

Решение, к которому я пришел в этот вечер, я теперь определил бы как попытку найти одно неизвестное при помощи двух других неизвестных. Только такая умная голова с ушами, вроде моей, могла додуматься до него: завтра я куплю учебники по физике и математике и возьмусь опять за эти несчастные турбины. Как только я встречу непонятную математическую формулу — тут же раскрою учебник

математики, найду нужную формулу, и все станет ясным. Точно так же и с физикой. Просто!..Гениально!..

Убаюканный этой мыслью, я заснул и еле проснулся под нетерпеливое дребезжание будильника. По дороге на работу купил заветные учебники и в обеденный перерыв принес их в библиотеку.

Мистера Уаттса там не было. Я взял свои книги и принялся за чтение.

Споткнулся я на второй странице, на первой математической формуле. Предвкушая легкий успех, быстро нашел соответствующее место в учебнике и ужаснулся: это была та же формула, что и в книге; видно было, как взаимодействие математических символов приводило именно к этой формуле, но я не мог понять значения символов!..

* * *

Я преклоняюсь перед математикой, перед ее неумолимой логикой. Математика щедро награждает своих верных слуг и жестоко карает за малейшее упущение или небрежность. Математика — это воплощенная логичность, человеческая мысль, облеченная в символы и цифры. Математика последовательна, она не знает будущего, не основанного на настоящем...

Когда я нашел злосчастную формулу и остановился перед ней в бессилии, мне было не до философии. Ясно, что мой "гениальный план" рухнул. Надо было найти новый подход к решению задачи.

Я уже поднялся из-за стола, чтобы идти в чертежную, когда Уаттс вернулся. —Я хотел бы взять одну книгу домой, — сказал я, подходя к его столу. —К сожалению, вы можете пользоваться книгами только здесь, — ответил Уаттс и, подумав, добавил: "Если хотите, вы можете заниматься в библиотеке после работы, часов до девяти или до половины десятого. Я редко ухожу домой раньше десяти вечера."

После работы, вместо того, чтобы идти домой, я пошел в библиотеку. Вскоре она сделалась моим домом, вернее, больше, чем домом. Домой я ездил лишь затем, чтобы поспать. Да и какое сравнение могло быть между маленькой комнатушкой, в которой я жил, и библиотечным залом, безлюдным и молчаливым, где даже звук шагов скрадывался густым ковром.

Мистер Уаттс иногда вставал из-за своего стола, медленно подходил к окну и подолгу смотрел на ночной город, переливающийся огнями, потом делал какие-то пометки карандашом на листе бумаги и начинал говорить вполголоса в диктофон, медленно и четко. Поговори́в несколько минут, он выключал микрофон, откидывался в кресле и часами сидел неподвижно, то ли о чем-то думая, то ли дремля. Настольная лампа выхватывала из полутьмы письменный стол, оставляя лицо сидящего в тени.

Такая же лампа горела и на моем столе; эти две лампы состав-

ляли все освещение библиотеки: потолок скрывала полутьма, мягкая, полупрозрачная.

* * *

Обе книги, которые мне дал мистер Уаттс, лежали на столе, но я их больше не трогал. Каждая попытка понять содержание этих книг была заранее обречена на неудачу.

Однако упрямство, заставившее меня заняться математикой и физикой, продолжало действовать, сменившись любопытством. Само собой сложилось и "расписание уроков": от пяти до семи — математика, потом десятиминутный перерыв, а затем — до девяти часов физика.

Боялся я одного: в один прекрасный вечер мистер Уаттс спросит меня: "Ну, вы уже ознакомились с турбинами, мистер Мэксэроу?" Что я отвечу?.. Поэтому, когда однажды я, уже собравшись домой, увидел подходящего ко мне мистера Уаттса, я жутко перетрусил. Вот оно!.. Мистер Уаттс внимательно посмотрел на меня, складывавшего свои бумаги и учебники, и сказал: "В этом столе все ящики пустые. Вы можете ими пользоваться постоянно."

* * *

С этого памятного вечера мистер Уаттс не проявлял ко мне никакого интереса. Все так же неподвижно часами сидел он за своим столом, иногда делая традиционные рейды к окну. Я заметил, что он никогда не разыскивал книг, но всегда сразу находил то, что ему было нужно.

В конце августа я вернулся из отпуска. — Как отдохнули? — спросил мистер Уаттс. — Спасибо, хорошо, — отвечал я, останавливаясь перед его столом, но мистер Уаттс только кивнул головой и протянул руку к микрофону. Этим наши контакты были исчерпаны и грозного вопроса о турбинах я больше не ожидал.

Однако несколько дней спустя мистер Уаттс сам подошел к моему столу и спросил: "Каковы ваши успехи?" — Алгеброй сейчас занимаюсь, — ответил я. — Ну и что, очень трудно? — Нет, не особенно. Я еще кое-что из моей школы припоминаю. — А как же турбины? — по лицу, изуродованному шрамами, проскользнуло что-то вроде улыбки. — Турбинам придется подождать, — сконфуженно пробормотал я, — но все равно я до них доберусь. — И вы, конечно, представляете себе, когда начнете свободно разбираться в вопросах турбиностроения, мистер Мэксэроу? — Да, представляю... Примерно года через два..

Мистер Уаттс поднялся со своего стула. — Через два года вы, может быть, и то *может быть*, будете в состоянии читать схемы и чертежи турбин. Возможно, вы поймете, что значит деталь, которую вы чертите, но вы не будете знать, *почему* деталь должна быть именно такой, какой вы ее вычерчиваете, не будете знать ее функций, спецификаций сплава, одним словом, почти ничего. А если хотите узнать больше, тогда потеряйте на этом лет семь или восемь. Именно поте-

рйайте, так как даже если вы будете знать столько же, сколько знает средний инженер, вы ваши знания не сможете использовать, раз у вас нет диплома. А сами по себе ваши знания ненужны...

Я медленно поднялся из-за стола. Мне было обидно до горечи. —Вы советуете мне бросить все это, мистер Уаттс?.. —Никоим образом. Но я советую вам поступить в школу, раз вы хотите учиться. —У меня нет аттестата о законченном среднем образовании. —У вас есть аттестат курсов для чертежников, и мы дадим вам справку, что вы два года работаете здесь в качестве чертежника. Или эти четыре месяца, которые вы просидели за этим столом, были только ребяческой причудой?.. —Нет, я в самом деле хочу... —Хорошо, тогда мы поговорим об этом завтра. Покойной ночи... —Покойной ночи, мистер Уаттс.

* * *

Мистер Симпсон подошел к моему столу и вполголоса сказал: "Мистер Уаттс просит вас зайти в библиотеку." Работавший за соседним столом Майк, рыжий ирландец, с которым мы дружили, поднял ко мне веснушчатое лицо и в тон мистеру Симпсону добавил: "Знаменитый конструктор, инженер-электротехник мистер Мэккэроу идет на совещание со своими консультантами..." — На Майка сердиться было невозможно. Да и как сердиться на приятеля, особенно если у этого приятеля есть сестра, такая же рыжая и веселая, как и он сам?

Мистер Уаттс стоял у окна. —Вы не изменили за ночь своего решения, мистер Мэккэроу? — спросил он, поворачиваясь ко мне. —Нет, не изменил. —Хорошо, тогда поезжайте в обеденный перерыв вот по этому адресу, — сказал мистер Уаттс, подавая мне листок бумаги. —Это двухлетние вечерние курсы для электротехников. С директором школы я хорошо знаком. Он согласен зачислить вас слушателем, но условно: если ваши достижения за два семестра будут неудовлетворительны, вам придется покинуть школу. Предупреждаю, вам будет очень трудно — работать здесь, а по вечерам еще четыре часа в школе. Программа у них солидная и подготовка хорошая. С аттестатом этой школы вы можете работать на любом заводе в качестве электротехника. Хотите попробовать? — Я молча кивнул головой. — Да, я забыл сказать, что если вы окончите одним из десяти лучших выпускников, у вас будут шансы поступить в политехнический институт. Это, кажется, все. Я сказал мистеру Симпсону, что, возможно, вы опоздаете немного. Желаю удачи.

* * *

Мистер Уаттс был прав — было очень трудно, особенно первое время. Ложиться раньше половины второго не удавалось — надо было просмотреть заданное и решить, что можно будет сделать завтра в библиотеке и что нужно сделать еще сегодня вечером, вернее, ночью.

В семь часов дребезжанием будильника начинался новый день. И так ежедневно, изо дня в день...

На рождественские каникулы в школьных занятиях был перерыв — две недели. Приехал я в школу десятого января и сразу кинулся к доске, на которой был вывешен список слушателей по расценке их достижений. Увы, я был пятьдесят третьим из общего числа шестидесяти семи учеников...Значит, никуда не погужь!..Котелок не варит. Четыре месяца такой работы и ни к чему!..

В этот вечер, приехав домой, я бросил книги на стол и откровенно лег спать.

Утром было не веселее. По дороге на работу, сидя в автобусе, я еще раз оценил все "за" и "против", придя к выводу, что все это совершенно безнадежно. Раз я стоял на пятьдесят третьем месте, то средняя арифметическая отметка должна быть около пятидесяти пяти процентов, может, и меньше. Куда там — перейти на второй курс! А быть второгодником нельзя — ведь принjali меня условно...

Работа целый день не спорилась. Вечером я по привычке пошел в библиотеку, сел за свой стол, но даже книги из портфеля не вынул. Вошел мистер Уаттс, остановился около меня и спросил: "Что случилось?" —Список вчера видел, — ответил я нехотя, — у нас в классе шестьдесят семь человек, а я — пятьдесят третий. Вот и все... —И что вы думаете делать? —Ничего. Больше того, что делаю сейчас, я из себя выжать не могу. Наверно, придется все это бросить...

—Да, оценка неважная, — сказал мистер Уаттс, усаживаясь на стул. — Следовательно, в этом семестре вы должны продвинуться на двадцать мест — на тридцать второе или тридцать третье место. — Я ошалево посмотрел на мистера Уаттса, однако на его лице не было и тени улыбки.

—Ведь я вам говорю, мистер Уаттс, что ничего больше из себя выжать не в состоянии. Я и так сплю пять с половиной часов в сутки, дома уроки надо приготовить, а в семь вставать. Откуда же мне выкроить еще час или два на учебу?.. —Хорошо, скажите мне, мистер Мэккэроу, что вас губит: домашние работы или класс? —Класс, конечно!..Домашние работы у меня вовсе не такие плохие, процентов на семьдесят, семьдесят пять даже, а как надо выходить к доске, все сразу забываю. Чем больше стараюсь ответить на вопрос, тем меньше помню. Иногда в классе смеются, когда я чепуху говорю. А сяду на место — вижу, где запутался и как надо было отвечать...Ложка после обеда!..Наш математик недавно спросил меня, кто мне дома помогает задачи решать? Значит, он думает, что кто-то за меня их решает... И с физикой то же самое...А вы мне о продвижении на двадцать мест говорите...

Мистер Уаттс сидел молча и неподвижно, только пальцы его левой руки, лежавшей на колене, медленно сгибались и расгибались. Я давно уже заметил, что левой рукой он не владел и все делал правой. Очевидно, это было последствием роковой автомобильной катастрофы.

—Пальцы уже у меня сгибаются и расгибаются, а руку я уже могу положить на колено, — сказал он. — Мой доктор говорит, что если я буду регулярно делать упражнения, то через год я смогу поднимать руку до уровня плеча, а ведь раньше он боялся, что рука может совсем атрофироваться... Да, вы, пожалуй, правы, мистер Мэккэроу, — продолжал он, переводя взгляд на меня. — Возможно, вы неспособны к математике, тогда вам, конечно, лучше все это бросить. Нельзя требовать от человека невозможного. Занимайтесь своим черчением — это проще. Не все рождаются математиками или атлетами. И вас никто не будет обвинять, что вы не можете сконцентрироваться при ответе на вопрос. Просто это недостаток воли, а сами вы тут ни при чем.

Мистер Уаттс замолчал. Оба мы продолжали сидеть неподвижно, только пальцы руки мистера Уаттса то сжимались в кулак, то опять выпрямлялись, методически и без усталости, как работающий механизм.

Как точно он меня проанализировал, — думалось мне. И как безжалостно! Очень вежливо доказал, что я неспособный, безвольный дурак с амбициями. Все верно... А жалко все-таки...

—Теперь, когда мы с вами пришли к заключению, что в школу вам нет смысла возвращаться, — прервал молчание мистер Уаттс, — я хотел бы задать вам пару вопросов. Меня интересует, что может усвоить из пройденного за полгода, человек с вашими, скажем, довольно ограниченными способностями. Ну, возьмем хотя бы тригонометрию. Вы согласны?

Я со злобой посмотрел на мистера Уаттса. Я тебе докажу, что даже и дурак, вроде меня, может из твоей математики кой-что запомнить! Хрен с тобой!.. Спрашивай!.. — Пожалуйста, мистер Уаттс, — ответил я, продолжая глядеть на него в упор...

Я часто по вечерам слышал голос мистера Уаттса, говорящего в диктофон. Голос уверенного в себе человека, формулирующий сложные фразы медленно и отчетливо. Теперь тот же самый голос задавал мне вопросы по всему курсу тригонометрии, так же четко и ясно их формулируя.

Злоба скоро перестала меня душить, мне только хотелось доказать, что не святые горшки обжигают. Потом и это исчезло. Я старался ответить на вопрос просто потому, что на каждый вопрос должен существовать ответ.

Я списывал лист за листом, а мистер Уаттс продолжал сидеть почти неподвижно, шевеля только пальцами левой руки. Едва я находил ответ, ровный голос диктовал мне следующую задачу.

Было около семи часов, когда мистер Уаттс потянул к себе чистый лист бумаги, начертил усеченный конус, выписал данные, относящиеся к чертежу, и сказал, подвигая лист в мою сторону: "А теперь вычислите кубатуру и поверхность этого конуса, мистер Мэккэроу. Ваши таблицы логарифмов с вами? — Да, — ответил я, вытаскивая книгу из портфеля.

Я решил задачу, а мистер Уаттс проверил мои вычисления. — Ес-

ли вы не спешите, я задам вам несколько вопросов еще по физике и химии. — Мне было уже безразлично: ехать домой, оставаться здесь, отвечая на совершенно ненужные вопросы, — какая разница?.. Казалось, что по тригонометрии слишком много ошибок я не наделал, но кто его знает? А, впрочем, не все ли равно?..

Когда я ответил на последний вопрос по химии, было уже около половины одиннадцатого. Мистер Уаттс встал, прошелся по библиотеке, вернулся к столу и сказал: "По тригонометрии — в восьмой задаче косинус альфа у вас по неизвестным причинам превратился в синус бэта. Остальные семь ответов правильные. Кубатура конуса и поверхность вычислены верно. Общая оценка — девяносто процентов. Ваши ответы по физике и химии я расцениваю ниже, по физике не больше семидесяти пяти, по химии — восемьдесят. Для человека средних способностей это неплохо, но я не думаю, что в школе вы сможете отвечать на этом же уровне. Ваши сегодняшние ответы — чистая случайность. Вы хотели доказать мне, что кое-что знаете. Будет ли у вас в школе тот же стимул?.. Нет, думаю, учеба у вас не пойдет, но чтобы это стало совершенно ясно, и чтобы в будущем у вас не было никаких сожалений, останьтесь в школе до конца января. Хоть над вами в классе и смеются, как вы говорите. Вы согласны, мистер Мэксэроу?" — Я могу еще походить пару недель, если вы хотите, мистер Уаттс, но ведь это трата времени и больше ничего. — Согласен с вами, но завтра все-таки поезжайте. Покойной ночи, мистер Мэксэроу.

* * *

На следующий день вечером я приехал в школу в подавленном настроении. Особенно возмущало меня презрение, с которым ко мне относился мистер Уаттс. Ведь мог же он как-то подбодрить меня, а не издеваться надо мной столь изощренно. Вот оно, отношение богача к рабочему!.. Капиталист!.. Даже то, что я ему четыре с половиной часа по трем предметам отвечал, и неплохо отвечал, ничего не доказывает?.. — "Чистая случайность!.." Да, все они такие!..

К доске меня лектор вызвал вторым. Я начертил указанную мне фигуру, отметил данные и вдруг с ужасом почувствовал, что уже само начало ускользает от меня... А ведь я же знаю, знаю!.. Надо только сконцентрировать все внимание, а там все будет прекрасно. Я смотрел за угол доски и молчал. — Что же вы не начинаете, мистер Мэксэроу? — спросил меня лектор. — Разрешите мне немного подумать, — ответил я, вертя мэл в пальцах. — Тишина, джентльмены! — раздался чей-то насмешливый, громкий шепот, — гений думает... — По классу пробежал веселый хохоток.

Меня охватила злоба, дикая, душная. — Если бы я мог этим идиотам доказать! — подумал я, смотря на доску, и вдруг все стало ясным и простым. Везде задачи, вроде этой, я решал дома, а здесь надо начать немного иначе, вот так. И рука уже писала начало формулы на доске, а в памяти возникла следующая, именно та — нужная. И ст-

раха уже не было, что вот-вот, сейчас споткнусь, а, наоборот, была уверенность, прочная и стройная.

Я заметил с удивлением, что даже мой голос меняется: торопливый и резкий сначала, он постепенно становился уверенным, звучал ниже и тише, и я уже начинал следить за точной формулировкой того, что хотел сказать. — Вы сегодня хорошо подготовились, мистер Мэккэроу, — сказал мне лектор, когда я, решив задачу, ожидал вопросов. Но вопросов не было. Я стер с доски написанное и пошел на свое место.

Через неделю я понял, что фраза "разрешите мне подумать" была магической, заклинанием, действовавшим безотказно. Возможно, это было просто самовнушение, позволяющее мне сосредоточить все внимание на определенном предмете, но, во всяком случае, мой страх и неуверенность пропали бесследно.

В конце января, когда я, по обыкновению, пришел в библиотеку, мистер Уаттс спросил меня: "Когда вы покидаете школу, мистер Мэккэроу?" — Вопрос меня изумил. За три недели я успел забыть о решении бросить школу. — Я хочу закончить второй семестр, мистер Уаттс, а там видно будет, — ответил я. — Ну что ж, это неплохое решение, — сказал он. — Только мне, видимо, стоит вам немного помочь. Я дал рекомендацию и считаю себя за вас ответственным. Если вам что-то неясно, скажите мне. Общими силами мы можем сделать больше. — Благодарю, мистер Уаттс... — еле выдавил я из себя. Чего-чего, а предложения помощи со стороны человека, который столь презрительно говорил со мной всего три недели назад, я не ожидал...

* * *

Мистер Уаттс был верен своему слову. Его объяснения были превосходны. Самый запутанный вопрос оказывался совершенно простым и естественным. Он умел не только объяснить каждую отдельную задачу, но и передать слушателю умение находить *свой* подход к ней.

В классе перестали хихикать, когда я выходил к доске, но я не мог забыть прошлое так легко. Не мог я забыть и вопрос лектора математики, кто помогает мне дома решать задачи. Каждый раз, когда я отвечал, во мне воскресала не злоба, нет, — скорее, глухая неприязнь к лектору и к моим сокурсникам. Я перестал просить разрешения подумать перед тем, как начать ответ. Свою магическую формулу я произносил про себя, и она срабатывала безотказно. Под конец второго семестра я неожиданно заметил, что, отвечая лекторам, непроизвольно подражаю мистеру Уаттсу в его манере говорить и формулировать фразы. Этим открытием я не огорчился.

* * *

Я вполне сознавал, что мои достижения за второй семестр значительно улучшились. Тут не было ничего удивительного — при помощи мистера Уаттса даже тупица стал бы полугением. Я был уверен, что

мне удастся пробраться в заветную верхнюю половину списка и перейти на второй курс. И вот наступил момент, когда я смотрел в список...

Что может быть красивее цифры 18? Особенно, если за ней следуют имя и фамилия: Уолтер Мэккэроу? Какое замечательное сочетание цифр и букв!..

Радость распирала меня; ею надо было поделиться. Я позвонил Майку. — Майк, Майк, я перешел на второй курс!.. С пятьдесят третьего места на восемнадцатое!.. — У тебя лунный удар, мой бедный друг, но... — послышался иронический голос Майка, — не надо отчаиваться: современная медицина.. — В трубку донеслась какая-то возня, был слышен голос Майка, говорящий кому-то: "Этот бедняга Уолт от переутомления свихнулся — он сказал мне, что перешел на восемнадцатый курс...", и голос Мэдж, со смехом говорящий Майку: "Дай мне трубку, клоун! Дай трубку!..", и ее же голос, но уже спрашивающий меня: "Кто из вас двоих свихнулся? Ты или Майк, или вы оба? Говори серьезно: на какой восемнадцатый курс ты перешел?" — Да ни на какой восемнадцатый курс, на второй курс я перешел, а восемнадцатым я стою в списке... — Вот хороший мальчик! Приезжай завтра с Майком после работы к нам, я тебя поцелую! Надо это отпраздновать... — Послышался голос Майка, что-то кричавший. — Майк говорит, что он тоже тебя поцелует. — Скажи Майку, что его любовь ко мне совершенно безнадежна. А завтра я приеду. Я люблю тебя, Мэдж!..

* * *

Не знаю, любил я Мэдж, или нет. Пожалуй, нет. Майк, Мэдж и я были хорошими друзьями; я бывал у них почти каждый уикэнд, летом мы ездили за город на заслуженном шевролете Майка, о котором гордый владелец говорил, что это чудо техники вместе с благородной ирландской фамилией О'Брайан будет передано в наследство его, пока ещё не родившимся потомкам. Я робел, когда разговаривал с молодыми девушками, но в обществе Мэдж не стеснялся.

Первый раз Майк привез меня к себе домой вскоре после того, как я начал работать в "Кирклэнд Дженерал Моторс". Наши столы в чертежной были рядом, и мы стали вместе ходить в столовую. В ответ на расспросы Майка я неохотно признался, что одинок, ни родных, ни знакомых у меня нет, что по уикэндам я или зубрю английский язык, или просто ничего не делаю. Жалостливое сердце Майка не выдержало и он пригласил меня к себе "погреться у семейного очага", по его выражению.

У О'Брайанов я быстро стал своим человеком. Я чувствовал себя у них гораздо лучше, чем у себя дома — здесь, по крайней мере, можно было поговорить и посмеяться. Нашим триумvirатом командовала Мэдж, а мы с Майком охотно ей подчинялись. Мэдж обладала большой практической сметкой и очень этим гордилась. — Послал Бог мне двух младенцев!.. — с комическим ужасом говорила она, когда

мы с Майком обсуждали наши финансовые проблемы, и тут же излагала свое мнение. Оба "младенца", на несколько лет старше и на голову выше главы триумvirата, обыкновенно соглашались с ней, хотя Майк иногда и бубнил вполголоса о лиге защиты прав мужчин и о теоретическом равноправии всех граждан Северной Америки.

* * *

Моя встреча с мистером Уаттсом на следующий день была лишена всякой эмоциональности. В глубине души я рассчитывал, что он все-таки похвалит меня. Однако он спросил только, где я собираюсь отбывать мой летний стаж. На мой мало вразумительный ответ мистер Уаттс молча кивнул головой, нажал кнопку интеркома и сказал кому-то, очевидно, из отдела кадров: "Оформите командировку мистера Уолтера Мэккэроу на завод номер два сроком от пятнадцатого июня по первое сентября в качестве электротехника-практиканта." И, обращаясь ко мне, добавил: "Зайдите в отдел кадров в два часа, мистер Мэккэроу."

После работы поехали к Майку. Когда мы вошли в кухню, Мэдж делала салат в деревянной миске. Она подскочила ко мне, обняла за шею и поцеловала в губы. Чтобы облегчить ей эту операцик, мне пришлось нагнуться и обнять ее, причем наш поцелуй немного затянулся. Так, по крайней мере, думал Майк, выразивший свое неудовольствие поведением современной молодежи и эгоизмом людей, предающихся чувственным наслаждениям, в то время, когда он, кормилец семьи, умирает от голода и жажды.

Мэдж замахнулась на Майка ложкой и выгнала нас из кухни в гостиную, но Майк сейчас же вернулся обратно и жалобным голосом стал кланяться у Мэдж две бутылки пива для двух "бедных, но честных молодых людей".

—Значит, с пятнадцатого ты отправляешься на летнюю практику?— развалился в кресле и с бутылкой пива в руке, спросил меня Майк. —Интересно, куда загнал тебя "компьютер": на Аляску или в пустыню Гоби? —Нет, на завод номер два, — сказал я, протягивая ему бумажку из отдела кадров. —Мэдж, Мэдж!..Иди сюда скорее!.. — закричал Майк, подбегая к дверям кухни. —Пива больше не дам! — послышался голос Мэдж и в дверях показалась она сама. —В чем дело? Чего ты кричишь?.. —Как же не кричать?..Нет, ты только послушай, Мэдж, — продолжал Майк, — слушай внимательно. Где-то, когда-то жил-был король. Когда король был молод, он полюбил прекрасную девушку и у них родился сын. Жениться на девушке король, конечно, не мог — королям полагается жениться на принцессах, а не на простых девушках. Сын короля пропал бесследно и только совершенно случайно, через много лет, король узнал, что его сын работает как простой чертежник. Тогда король поручил своему верному канцлеру и паладину воспитать отыскавшегося королевича... —Вот горе! — прервала Мэдж повествование Майка, — один брат у меня, и тот сумасшедший...Какой

королевич, какие паладины?.. – Вот этот! – торжественно произнес Майк, указывая пальцем на меня. Я не выдержал. – Видишь, к чему ведет пьянство, Майк!.. С твоей слабой головой и пить пиво!.. – Слушай, Мэдж, – продолжал Майк, – тайна раскрылась!.. Этот таинственный иностранец, не то шотландец, не то русский, – никто иной, как сын самого мистера Кирклэнда! Теперь мне понятно, почему "компьютер" его целый год за уши тянул, вбивая знания в его знатную, но довольно пустую голову, а теперь посылает его на практику, и куда? – На завод номер два, где практикантами бывают только студенты-технологи, да и то больше всего, сыновья наших же инженеров... – Майка одолел ораторский пыл; он остановился передо мной и прокурорским голосом спросил: "Слышали Вы, Ваше Высочество, поговорку, что еще не спроектирован такой мотор, которого завод номер два не мог бы построить?"

– Из-за этих двух оболдуев у меня ростбиф пригорел! – вскрикнула Мэдж и кинулась на кухню. Тревога, к счастью, оказалась ложной: ростбиф оказался очень вкусным – это мы установили несколько минут спустя.

После обеда перекочевали в гостиную. Нашу веселую болтовню неожиданно прервал телефон. Майк тут же сорвался с дивана. Его реплики были односложными и состояли из десятка "да", одного "очень" и заключительного "через полчаса". Бросив трубку, он кинулся в ванную, через несколько минут выскочил оттуда, на ходу вытирая лицо полотенцем, побежал в спальню и вскоре предстал перед нами в новом костюме, в галстучке всех цветов радуги, благоухающий одеколоном. – Вы меня извините, но я должен вас оставить: у Джерри покер намечается... – А твой Джерри блондинка или брюнетка? – ядовито спросил я. – На основании пятого дополнения к конституции я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, сэр.

– А ты сиди, – сказала мне Мэдж, видя, что я нерешительно поднимаюсь с места. – Пусть он себе едет; вам все равно не по дороге. И в холодильнике еще пиво есть...

Я остался. Пиво в холодильнике осталось нетронутым...

* * *

Когда вскоре я уехал на место своей летней стажировки, я быстро оценил смысл фразы о том, что еще не спроектирован мотор, которого завод номер два не мог бы построить. Мой гид по заводу – молодой инженер, говорил с гордостью: "У нас конкурентов нет. Есть заводы-гиганты раз в десять больше нашего "номер два", но такого оборудования нет нигде. Да и людей таких тоже, – прибавил он. – Что же за особенные люди у вас? – спросил я. – Вот именно особенные: почти все они работали здесь до войны с мистером Кирклэндом. После депрессии дела шли плохо, заказов не было, завод надо было закрывать. Тогда мистер Кирклэнд созвал всех рабочих и служащих.

объяснил положение и сказал, что выбор только один: или закрыть завод или работать за две трети платы, пока дела не пойдут на поправку. Рабочие согласились, ушло человек пять или шесть, не больше. Мистеру Кирклэнду верили: все видели, как он на заводе надрывался, ел и спал здесь, потому и верили. —Что же было дальше? — спросил я. —Года полтора жили почти впроголодь, особенно семейные. Потом заказы стали поступать, производство увеличилось, начали работать на военное министерство, а мистер Кирклэнд стал выплачивать задолженность служащим. Он и теперь все еще выплачивает, — добавил инженер, улыбнувшись. —Как так и теперь? — спросил я. —Очень просто. Когда задолженность была погашена, отдел расчетов сообщил мистеру Кирклэнду об этом, а он приказал увеличить ставки на ту же сумму. Все эти старики и теперь получают на треть больше. Я — инженер, а зарабатываю здесь почти столько же, сколько и слесарь, а форман цеха получает больше моего. Наши старики — люди состоятельные, ну, и гордые, конечно. Они уверены, что завод сохранился благодаря им и что без них "Кирклэнд Джeneral Моторс" не существовал бы. Кстати, — прибавил инженер, усмехнувшись, — пока вы на заводе, не вздумайте о мистере Кирклэнде плохо отозваться. Можете президента Соединенных Штатов ругать, если хотите, а президента "Кирклэнд Джeneral Моторс" не трогайте. Он для наших стариков и не президент корпорации даже, и не мистер Кирклэнд, а "наш малый" и "Джефф".

* * *

Завод номер два был, в сущности, громадной лабораторией, где строились модели моторов по проектам конструкторского бюро. Если построенная на заводе модель успешно выдерживала все испытания, она запускалась в производство.

Молодой инженер, показывавший мне завод, был прав: здесь работали удивительные люди. С одним из них — Клиффом Бэллвудом, я познакомился основательно. Клиффа его товарищи в шутку звали профессором за умение натаскивать новичков-практикантов. Он мог объяснить каждый технический прием по нескольку раз подряд, не теряя ни терпения, ни своего обычного добродушия.

За два с половиной месяца Клифф дал мне больше практических знаний, чем я получил на курсах за весь год. Для Клиффа моторы не были массой бездушного металла; казалось, для него они были почти живые существа, требующие не только заботливого ухода за собой, но даже и любви к ним со стороны человека. Я сначала улыбался; слушая рассуждения Клиффа, но понемногу стал с ним соглашаться, перенимая его "моторный" энтузиазм.

* * *

Своей увлеченностью я пробовал заразить и Мэдж, но безрезультатно — моторы восторга в ней не вызывали. Однако, практичная, как

всегда, Мэдж дала мне совет: "Купи автомобиль, Уолт! Деньги у тебя есть, в моторах ты начинаешь разбираться, значит, мелкие ремонты тебе ничего стоить не будут. Майка теперь по уикэндам не допросишься..." Действительно, его по уикэндам мы почти не видели — братец Мэдж был влюблен по уши и ему было не до нас.

Автомобиль очень пригодился — мы стали ездить на взморье, целый день проводили на пляже, купались в океане, по вечерам ходили на танцы.

Эти уикэнды до известной степени заменили мне мой пропавший месячный отпуск.

* * *

Первого сентября я вернулся в чертежную. Там все было по-старому, все те же лица и та же работа. Через неделю зышел из отпуска мистер Уаттс и в обеденный перерыв я, зайдя в библиотеку, поблагодарил его за мою командировку. — Кто же вас натаскивал на заводе? — спросил меня мистер Уаттс. — Клифф Бэллвуд. — Ну, раз сам "профессор" вами занимался, то вы кое-чему научились. Мистер Уаттс улыбнулся, это была первая настоящая улыбка, которую я видел на его лице.

Пятнадцатого сентября начались занятия на курсах, но в этом году уже было значительно легче — моя застенчивость и робость перестали меня мучить. Не изменилась лишь неприязнь к моим одноклассникам и лекторам — каждый раз, когда я выходил к доске, мне вспоминалось хихиканье в классе. Но теперь надо мной больше никто не смеялся.

Иногда я обращался к мистеру Уаттсу с просьбой объяснить мне то, что я сам не мог одолеть но это случалось редко — я не хотел беспокоить его понапрасну, да и за прошлый год он научил меня думать самостоятельно. Но все-таки хорошо было сознавать, что в случае необходимости всегда можно обратиться к человеку, могущему ответить на любой вопрос.

Я даже уставать стал меньше, хотя и работал по-прежнему; очевидно, сказывалось отсутствие нервного напряжения, мучившего меня весь прошлый год.

Третий семестр я закончил двенадцатым в списке из пятидесяти трех слушателей. Этот успех мы отпраздновали у О'Брайанов, но уже вчетвером, так как Майк пригласил и Джинни, милонидную ирландочку, за которой он усиленно ухаживал последнее время. К моему удивлению, Джинни была не рыжей, а шатенкой, и у нее не было веснушек.

* * *

Майк и Джинни хотели устроить свадьбу в июне, потом взять отпуск и отправиться в Калифорнию. В конце июня я должен был закончить мою учебу и получить аттестат. Электротехники зарабатывали хорошо, больше чертежников. Мэдж была милой девушкой и любила меня. Почему бы нам и

не пожениться?

Хотелось поступить в технологический институт, но для этого надо было быть одним из первых в списке выпускников, а потом — где же деньги? У меня имелись кое-какие сбережения, но на четыре года в институте их не хватало. А кроме того, если поступить в институт, то какая тут семейная жизнь? Четыре года перебиваться с хлеба на квас — веселого мало. Одними надеждами на будущее прожить трудно...

Бедность, бедность несчастная!..А какая интересная работа у этих инженеров-электротехников!..Ну, что же делать: раз не могу быть инженером, буду электротехником...Надо на днях поговорить с Мэдж.

* * *

Я так и ответил на вопрос мистера Уаттса, когда он спросил меня, что я думаю делать после окончания курсов. Мистер Уаттс помолчал немного и сказал, что мы еще раз поговорим об этом. На третий день после нашего разговора мистер Симпсон, проходя через чертежную, остановился у моего стола и сказал, что мистер Уаттс хочет меня видеть.

Я немедленно пошел в библиотеку. Мистер Уаттс стоял у окна. —Сядем и поговорим, — сказал мистер Уаттс, указывая рукой на кресло и садясь сам. —Вы мне сказали, что у вас нет денег на институт. Это естественно: из жалованья чертежника много не отложишь. Я навел вчера справки и могу сказать, что фирма согласна помочь вам в учебе при условии, что после окончания курса вы подпишете контракт с нами на пять лет. За это время вы выплатите ваш долг фирме, а потом вы — свободный человек. Если дирекция и вы будете довольны друг другом, подпишете новый контракт, а если нет, то с дипломом и пятилетним стажем "Кирклэнд Джернерал" вас охотно возьмет любая фирма. Вы согласны, мистер Мэксэроу? —Согласен, — ответил я, облизывая пересохшие от волнения губы. — Но почему... — начал я и остановился, не в силах закончить вопрос. — Почему? — переспросил мистер Уаттс. —А собственно, что вас удивляет, мистер Мэксэроу? Это не благотворительность с нашей стороны, это — коммерческая сделка. Деньги можно вкладывать не только в предприятия, в машины или здания; деньги можно вкладывать и в людей. Вы не первый. Наша фирма дала образование многим и нам почти никогда не приходилось жаловаться на плохие результаты. Да, кстати, — сказал мистер Уаттс, поднимаясь с кресла, — не забудьте, что если вы закончите курсы только двенадцатым, то все мечты об институте так и останутся мечтами. Попробуйте за эти полгода выбиться на четвертое или пятое место в списке.

* * *

Вернувшись после работы домой, я позвонил Мэдж и, захлебываясь от радости, рассказал ей о нашем разговоре с мистером Уаттсом. К моему удивлению, Мэдж не проявила особого восторга.

В канцелярии курсов мне сказали, что только пять наших выпускников

могут рассчитывать на поступление в институт, кроме того, принятые туда должны будут взять дополнительные курсы по социологии и английскому языку. За последние два года число желающих поступить в технологические институты резко увеличилось и институты ввели принцип конкурса аттестатов.

Эти полгода были самыми тяжелыми за все время моей учебы: все зависело от того, удастся мне пробиться в верхнюю пятерку или нет. От переутомления я стал засыпать на работе, а один раз заснул в библиотеке за своим столом: просто положил голову на руки и заснул. Проснулся я оттого, что кто-то потряхивал меня за плечо. С трудом открыв слипшиеся от сна глаза, я увидел мистера Уаттса. — Вы опоздаете на занятия, мистер Мэксроу, — сказал он и, подумав, прибавил: "Не приходите завтра и послезавтра на работу и выспитесь, как следует."

Возвращаясь домой с занятий, я продолжал думать о мистере Уаттсе: ведь он гораздо человечнее, чем кажется. Вот он меня все время за уши тащит, как говорит Майк, а какой ему, в сущности, интерес возиться с дефактивным переростком вроде меня? Так я и заснул, думая о том другом лице мистера Уаттса, которое я увидел сегодня.

Без помощи мистера Уаттса на третье место в списке выпускников я никогда бы не вышел — в этом я уверен и по сегодняшний день, но так или иначе, кончил я третьим.

Мой успех вызвал сенсацию в чертежной — Майк позаботился об этом еще до моего прихода на работу. Сам мистер Симпсон пожал мне руку и поздравил меня. Майк от лица присутствующих выразил надежду, что когда я буду инженером, я все-таки буду узнавать своих бывших сослуживцев.

В обеденный перерыв я пошел в библиотеку поблагодарить мистера Уаттса, но он даже не стал слушать. — Пустяки, не о чем говорить. Не забудьте вовремя послать прошение в институт. Я бы зам посоветовал обратиться сразу в два или три института, так будет вернее.

Я поблагодарил мистера Уаттса еще раз и пошел на обед в столовую.

Майк и Джинни в июле, после свадьбы, выехали в Калифорнию. Наши встречи с Мэдж продолжались, но после них я испытывал что-то вроде стыда. Надо было бы поговорить с Мэдж, но что я мог ей сказать?

В середине июля я получил сообщение из технического института в Охайо: я был зачислен студентом; занятия начинались пятнадцатого сентября. Это извещение меня обрадовало и вместе с тем окончательно загнало в тупик — что сказать Мэдж?

Я подождал, пока пришли ответы из двух других институтов, куда я по совету мистера Уаттса тоже подал прошения, но оба ответа были отрицательными — из-за недостатка места.

С этими письмами я пошел к мистеру Уаттсу и несколько дней спустя мои бумаги в отделе кадров были оформлены. "Кирклэнд Джернерал Моторс" обеспечивал меня стипендией на четыре года. Если бы я не смог окончить институт, выплаченные мне деньги подлежали возв-

рату в двенадцатимесячный срок.

Обо всем этом я рассказал Мэдж довольно несвязно и путанно. Она выслушала меня спокойно, не прерывая. Не реагировала она и на мое предложение выйти за меня замуж, когда я закончу институт. Заметила только, что четыре года — срок длинный.

После разговора у меня стало легче на душе. Ведь я мог просто прекратить наше знакомство, ну пусть это будет связь, на этом дело бы и кончилось. В Америке такое случается ежедневно и никто этому не удивляется, а я поступил, как джентльмен. Будем считать вопрос исчерпанным. Только в глубине души шевелилось нечто, очень похожее на странную жалость о чем-то...

* * *

Иногда я спрашиваю себя, что было стимулом, двигавшим мною за четыре следующих года. Таких стимулов было несколько: главным из них, конечно, было желание узнать побольше, стать независимым, выбиться в люди, и подсознательное стремление к силе и власти. Это было, очевидно, естественной реакцией на испытанные мною лишения и горечь всей предыдущей жизни.

Но был ли это один или несколько стимулов — над этим я тогда не задумывался. Я сознавал, что мне необычайно повезло и что успех надо было использовать полностью.

Влияние мистера Уаттса продолжало сказываться и здесь, в институте. Он сумел передать мне свой метод подхода к сложным задачам, и его метод оказывал мне неоценимые услуги. Усидчивостью я обладал с детства, память была хорошая. Вполне естественно, что к концу первого года я уже считался одним из лучших слушателей курса.

Дома, до войны, и здесь, после войны, мне приходилось читать о том, что студенческие годы — это лучшие годы человеческой жизни. Что же, вполне возможно. Дружба, студенческие пирушки, молодая любовь, все это так красиво и так заманчиво! Если бы я это искал, то, возможно, и нашел бы, но я не искал этого.

На первом курсе мое отношение к другим студентам было только холодное. Под конец второго года в институте, когда за мной уже установилась репутация выдающегося студента, к этой холодности стало примешиваться чувство снисходительности, а то и просто презрение. А за что их было уважать, этих, преимущественно, папенькиных сынков — отпрысков богатых семейств? Для них учение было неприятной необходимостью, с которой надо было разделаться по возможности скорее и с наименьшими затратами энергии и труда. Диплом инженера для них не являлся вопросом жизненной важности, как для меня.

Один из моих коллег, с которым я иногда обменивался несколькими словами, как-то раз сказал мне с гордостью: "Я ведь из очень бедной семьи, поэтому я и стараюсь в люди выйти. Как вспомню, что

все время до института мои родители и я с братом в трех комнатах жили, и мясо бывало на обед по воскресеньям и средам, а в другие дни рыба или макароны, или еще что-нибудь подешевле, так у меня сразу возникает желание учиться. Один автомобиль, и тот старый, на нем отец на работу ездил..." — Ну, да что тут рассказывать, — прибавил он с досадой, — откуда ты можешь знать, как нищета живет?..

Да, откуда я мог знать, как нищета живет, — подумал я вечером, вернувшись домой. А если бы этот самый Джо посмотрел, как мы втроем с тетей Надей и Юрой в одной комнате с кухней жили и как иногда на обед не то что мяса, но и картошки не было, особенно вначале, когда тетя Надя нас к себе привезла. Мне тогда три года было, а Юре шесть. Вот если бы Джо пожил с нами, он бы узнал по-настоящему, как нищета живет. Тоже, герой...

Я так ни о чем и не рассказывал Джо. К чему? Он все равно не поверит. Ведь по существу и не голодал он никогда, и не видал, чтоб мать его по ночам плакала, как тетя Надя, бывало, плачет: стоит на коленях перед иконкой в углу и навзрыд плачет. Ничего-то Джо не пережил, ничего не видал. Смешной дурак, и больше ничего.

* * *

С Мэдж я вначале переписывался регулярно, потом ее ответы стали запаздывать, а вскоре и совсем прекратились. Четыре года оказались для нее слишком долгим сроком.

Меня это мало тронуло. Не огорчило меня и то, что мои два или три знакомства с другими девушками оказались кратковременными. Женщины меня мало привлекали, да у меня и не было времени на такие пустяки. Плавание или теннис увлекали меня куда больше. Я всегда был хорошим пловцом, а здесь, под руководством институтского тренера, я добился таких результатов, что был зачислен в спортивную команду и принимал участие в первенстве института. Спорт не сблизил меня с моими товарищами — они были мне нужны только для того, чтобы доказать, что и здесь я лучше их. В остальном они мне были совершенно безразличны.

В конце четвертого семестра, весной, я написал письмо тете Наде. Оно вернулось через пять недель, с пометкой по-французски "ад-ресат скончался".

* * *

У меня в библиотеке есть полное собрание Джэка Лондона, я иногда и теперь читаю его с удовольствием. Герои Джэка Лондона — замечательные люди с железной волей. Их ничто не может остановить. Есть у него замечательное выражение — "великая тишина". Я побывал два раза на Аляске и слушал "великую тишину" далекого севера. Эта тишина была потрясающей, но нового в ней для меня ничего не было.

Тишина и одиночество эквивалентны, а одиноким я был всю свою жизнь.

"Кирклэнд Джeneral Моторс" регулярно каждый месяц переводил на мой текущий счет триста пятьдесят долларов — по тем временам это была царская стипендия. Мистеру Уаттсу я писал дважды в год, после окончания каждого семестра, сообщая ему о моих достижениях. Мистер Уаттс отвечал всегда вежливо и лишь по существу письма; только один раз в его письме я нашел коротенький постскриптум: "Могу поднять руку выше головы. Р.У."

На третье лето я в качестве практиканта опять попал на завод номер два. Я рад был встретить знакомых мастеров и, особенно, Клиффа Бэллвуда. Он за эти четыре года немного постарел, но был по-прежнему подвижен и энергичен. Клифф предложил мне поселиться у него, узнав, что я еще не успел найти комнату.

Дом Клиффа меня поразил: это была скорее вилла, а не дом. Я вспомнил слова молодого инженера о том, что старые служащие завода — люди состоятельные. Клифф познакомил меня со своей женой, которая сейчас же рассказала, что дочь их уже замужем, а сын приезжает только на один или два дня в неделю — он работает пилотом на "Панам Лайнс", что Клиффу давно пора в отставку, а Клифф не хочет.

Эти два с половиной месяца, которые я прожил у Клиффа, почти сроднившись с его семьей, дали мне очень много. Впервые я соприкоснулся с жизнью американского рабочего и начал понимать его психологию. В самом деле, какая была разница между Клиффом и любым из грузчиков, с которыми я когда-то работал!

По вечерам Клифф рассказывал мне про свою жизнь, о заводе, о мистере Кирклэнде. Для него мистер Кирклэнд, вернее — Джефф, был существом высшего порядка, и у Клиффа к нему была привязанность, вероятно, сродни той, какая бывает у старых солдат к своему полководцу.

—Джеффа деньги не интересуют, — говорил Клифф, — его интересует работа; он любит организовывать, устраивать, а деньги...Что для Джеффа деньги?.. Он и так один из самых богатых людей в Соединенных Штатах...Почему у нас на всех заводах забастовок не бывает, а брака почти нет? Ответ простой: мы платим нашим рабочим больше, чем наши конкуренты, и люди лучше работают. Ведь Джеффа никто не заставляет платить больше, никто не заставляет его организовывать летние колонии для служащих или их детей... Мы страховки обеспечиваем служащим и их семьям тоже...Этого никто другой не делает, только мы... — Клифф остановился, заметив, что я улыбаюсь. —Чему вы смеетесь, Уолт? —Я не смеюсь, я только удивляюсь. Вы говорите о "Кирклэнд Моторс", словно вы директор или словно вы сам мистер Кирклэнд. —Ничего, Уолт, проработаете тридцать четыре года для "Кирклэнд Моторс", как я, будете и вы так говорить...—Клифф отпил глоток пива и продолжал: "Для меня завод

почти как и семья. На заводе я всю мою жизнь провел, детей вырастил, а теперь вот и стариться начинаю. Ну, ничего, еще я поработаю."

* * *

Ложась спать, я вспомнил слова Клиффа и невольно усмехнулся. Прав "профессор", когда он говорит, что завод для него все равно, что семья. А для меня разве не так? Есть ли у меня что-нибудь, кроме "Кирклэнд Дженерал"? Выходит, что нет никого. А кто меня "за уши тащил", не мистер Уаттс? Кто мне стипендию дал, не "Кирклэнд Дженерал"? Так и выходит, что никого у меня больше нет, кроме завода. И тети Нади нет, и Мэдж не могла меня подождать...

* * *

На последнем курсе необходимо было выбрать область специализации и подготовить дипломную работу, связанную с этой областью. Я решил остановиться на турбинах и генераторах. Это требовало много усилий. Теннис пришлось бросить, однако на плавание я всегда находил свободные полчаса.

Вскоре после рождественских каникул в институте стали появляться представители фирм и заводов с предложениями работы для кончающих этой весной. Чем выше стоял студент на списке курса, тем больше вербовщиков за ним гонялось. Мне эти "охотники за черепами", как их называли студенты, были ненужны — я знал, куда пойду после окончания института, но отделаться от этих господ было нелегко. Они являлись даже ко мне на квартиру. Одного из них мне пришлось вежливо, но решительно выставить из моей комнаты.

На пасхальные каникулы я никуда не поехал: надо было готовиться к экзаменам; дипломная работа тоже была только наполовину закончена. Из дому я выходил лишь на обед в ресторане и на прогулку. В одну из таких прогулок я свернул с моего обыкновенного маршрута и в одной из побочных улиц наткнулся на церковь. Служба, очевидно, недавно кончилась; несколько человек медленно выходили, разговаривая вполголоса, и за свечным ящиком стоял, согнувшись, какой-то пожилой человек, что-то записывая на листе бумаги.

Не знаю, что толкнуло меня, но я подошел к этому человеку и, с трудом подыскивая полузабытые слова, спросил его, можно ли отслужить панихиду. — Я думаю, что можно. Батюшка еще в алтаре, я пойду, спрошу его. А как имя усопшего? — Надежда, — ответил я. Через минуту он вернулся и сказал: "Батюшка сейчас выйдет."

Не все слова моления я мог понять, но некоторые я понял. Мне казалось, что и мелодии я тоже припоминаю. Панихида кончилась. Я подошел к свечному ящику, положил свечу, положил пять долларов и медленно пошел домой. На ум приходили мысли, не имеющие ничего общего ни с математикой, ни с энерготехникой. — Тете Наде эта пани-

хида совсем и ненужна, наверное, — думалось мне. — Ведь если Бог есть, а Он наверное есть, если тетя Надя так в Него верила, то Он и так вознаградит ее за все ее горести и муки. И почему человек, вроде тети Нади, которая никогда никому ничего плохого не сделала, а всем помогала, где могла, должен мучаться, как она мучалась?.. Если какая-то высшая справедливость существует, то за все зло, что на ее долю выпало, надо ее вознаградить... Ну, а панихида, может быть, вообще ничего не значит, а, возможно, все же какой-то смысл в этом и есть...

* * *

Экзамены мои прошли удачно, а дипломная работа: проект силовой установки, была оценена как очень хорошая.

Речь, которую один из лучших дипломантов произносит в день торжественного акта, мои коллеги единодушно поручили сказать мне. Я этого ожидал и все-таки было это очень приятно. Меня недолгобливали за холодность, с которой я относился к своим коллегам, но уважали меня безусловно.

Сидя на другой день в актовом зале и ожидая своей очереди после речей декана и почетных гостей, я медленно переводил взгляд с одного лица на другое. Вот сидит Свенсон, выросший в Америке швед, выпускник нашего института, теперь всемирно известный математик. Рядом с ним — Джеймс Колби, тоже знаменитость: прекрасный теоретик и специалист по конструкции турбин. Под его руководством я писал свою дипломную работу. Там подальше, разместился Корбье, потомок французских плантаторов в Луизиане, вспыльчивый и раздражительный. Меня он не любит, это я знаю. На втором курсе, под конец года, объясняя нам сложную формулу, он сделал ошибку в вычислениях и остановился, выскивая ее. Я обнаружил ошибку раньше и когда Корбье споткнулся в своих расчетах, поднявшись с места, поправил его. Корбье вспылал, одним движением губки стер все написанное с доски и, повернувшись ко мне, спросил злобно: "Вы что, Эйнштейн?" — Нет, что вы! Зачем же нас путать?.. Я — Мэккэроу, — ответил я с ледяной вежливостью. В аудитории послышалось фырканье. Этой сцены Корбье не мог мне простить никогда.

А вон и наш декан. Он нагнулся к своему соседу и что-то шепчет ему на ухо. За последнее полугодие он несколько раз заговаривал со мной при встрече. Последний раз на прошлой неделе он сказал мне, что если я хочу, то могу остаться при институте. Такое предложение делается редко, но принять его я не мог: мой контракт с "Кирклэнд Дженерал" уже, несомненно, лежал в столе заведующего отделом кадров, ожидая моей подписи. Я сказал об этом декану. Он пожелал мне успеха и пожал руку — думаю, что не без уважения к моей стойкости.

В актовом зале — ни одного пустого места; многие стоят у стен. Это все родные, друзья и знакомые выпускников. Так много надежд

связано с этим торжеством, так долго этого дня надо было ждать!

Не все и дождалось его. Из ста семидесяти поступивших со мною в институт четыре года назад сегодня получают диплом инженера-электротехника восемьдесят два человека. Самые ленивые отсеялись уже на первом курсе. Все это были папино-мамины сынки, дети богачей. Диплом инженера — это хорошо, но если для этой бумажки надо вкалывать четыре года, — нет, благодарю покорно! Пусть дураки работают, а не я! Нет, сэр!..

Несколько человек спилось. Многие сделались наркоманами. Десятка полтора ушло просто потому, что не было чем платить за учение. Двух убил грузовик, когда они пробовали запарковать свой автомобиль. Это случилось почти напротив здания института год тому назад. Один сошел с ума.

Осталось восемьдесят два человека, самые способные, самые волевые. Из этих восьмидесяти двух я — самый способный, самый волевой. Это не гордость. Гордости у меня нет, но нет и ложной скромности. Я — остовец из Смоленска, Володька Макаров, которого били по лицу немецкие надсмотрщики, которого толкали в грудь американские грузчики, когда он не понимал, что они ему говорили, я должен доказать, что я способнее и сильнее тех, кто меня унижал, оскорблял и презирал... Когда я это докажу, ко мне вернется чувство уважения к самому себе.

Сегодня цель номер один моей программы достигнута.

* * *

Мой спич был последним. Я выразил уверенность, что все мы сумеем правильно оценить роль технологии в современном обществе и что наши знания найдут себе применение, достойное традиций, созданных поколениями инженеров и ученых.

Моя речь понравилась слушателям если не содержанием, то краткостью. Под аплодисменты присутствующих декан вручил мне диплом, пожал руку, и я сошел с трибуны. Наступила последняя часть церемонии. Я наблюдал, как мои коллеги брали из рук декана свои дипломы и медленно спускались в зал. Одетые в черные тоги и такого же цвета береты, они выглядели внушительно, и вообще в этом зрелище было нечто от романтической картинности средних веков.

Возвращавшихся немедленно окружали их родные и друзья, жали им руки, целовали. Особенно запомнилась мне пожилая женщина, обнимавшая одного из моих коллег. По ее лицу текли слезы. Кроме нее никто его не встретил, они так вдвоем и пошли к выходу: она, одной рукой держась за руку молодого человека, а другой утирая слезы платочком, а он — нагнувшись к ней и что-то озабоченно ей говоря.

Зал стал пустеть. Мне было грустно. Никто меня не поджидал и не встречал. Никто. Вот если бы тетя Надя была здесь, как та женщина, что плакала от радости. Или Юра. Ну, тот бы не плакал, а просто по-

жал бы руку и по плечу бы похлопал — дескать, молодец, Владимир!.. Или хоть бы Мэдж!..

У входа в зал стояли еще небольшие группы людей. Я заметил профессора Свенсона, разговаривавшего с высоким плечистым человеком. Свенсон вдруг протянул руку, показывая на меня. Его собеседник быстро повернулся и я остановился, как вкопанный: это был мистер Уаттс. Видя, что я не двигаюсь с места, мистер Уаттс подошел ко мне. — Поздравляю. Был здесь рядом, в Ауйтфилдс, и выехал оттуда утром, но по дороге попали в затор и полтора часа простояли. Хорошо, что мистер Свенсон мне вас показал, а то я мог бы и не узнать вас, хоть вы и не очень изменились. — Он меня вчера по телефону о вас спрашивал, — добавил подошедший профессор Свенсон. — Хорошо, джентльмены, все уже разошлись, пойдем и мы, — сказал мистер Уаттс. — Вас кто-нибудь ожидает, мистер Мэккэроу? Никто?.. Тогда я предлагаю поехать в приличный ресторан и "обмыть" ваш диплом... Вы, профессор, будете нашим гидом, — продолжал он, обращаясь к профессору Свенсону. — Я так давно у вас не бывал, что даже не знаю, где здесь можно прилично пообедать. — К вашим услугам, сеньор диретторе: за несколько лир я покажу вам все достопримечательности нашего старинного города, жемчужины Адриатики, — ответил со смехом профессор Свенсон.

До этого я видел большие рестораны только в кино и не подозревал, что ресторан, в который мы поехали, окажется столь шикарным. И все же он угнетал меня своим блеском, белизною и тишиной. Не нравился мне и мэтр д'отель, усадивший нас за стол с такой заботливостью, как будто мы все были тяжело больными; не нравился и вертлявый лакей, помогавший ему. Окончательно смутила меня коллекция вилочек, ножей и рюмок, возникших на столе и предназначенных, как я донял, для довольно сложных манипуляций ими.

Поныне благодарен я профессору Свенсону за деликатность, с какой он давал мне советы, продолжая свою роль гида. — "Я бы советовал сеньору отведать нашего национального блюда "филе миньон". Или: "Даже мне, бедному гиду, известно, что все знатные форестьеры любят французское вино, называемое "бо-жо-ле". Под конец обеда не только мистер Уаттс и профессор Свенсон смеялись, но и я развеселился тоже, очевидно, под влиянием таинственного "бо-жо-ле" и других напитков со столь же экзотическими названиями.

Мистер Уаттс вызвал такси и развез нас по домам. Прощаясь, он дал мне телефон отеля, в котором остановился, прося позвонить ему завтра.

На следующее утро я приехал к нему. За завтраком (для меня уже вторым в этот день) мистер Уаттс предложил мне ехать с ним в его автомобиле, в то время как его шофер поведет мою машину. Я согласился. Поеду, подпишу контракт, потом возьму отпуск до сентября. Куда мне спешить?

Водить кадиллак вроде того, на котором приехал мистер Уаттс,

мне не приходилось. Мощная и совершенно бесшумная машина, она, кажется, сама угадывала мои намерения. Я никогда не был фанатиком-автомобилистом, но в такую машину можно было влюбиться.

Словно читая мои мысли, мистер Уаттс сказал: "Хорошая машина, но я предпочел бы что-нибудь поменьше. Это все затеи мистера Кирклэнда. Он не хочет, чтобы я ездил без шофера и, пожалуй, прав: с одним глазом трудно вести машину..."

На полдороге мы остановились на полчаса, выпили кофе, и мистер Уаттс сел за руль. Видно было, что езда доставляла ему удовольствие, но через час он остановил машину на обочине дороги и предложил снова поменяться местами. — Глаз устает, — сказал он, — теперь вы ведите, а я буду навигатором.

Часа через полтора, когда мы уже подъезжали к городу, мистер Уаттс сказал мне: "Сейчас будет двадцать седьмая. Пожалуйста, сверните на нее." — Я удивился. — Но ведь двадцать седьмая огибает город. Куда же мы поедем по ней? — Ко мне на дачу. — И, отвечая на мой удивленный взгляд, добавил: "Ведь вы сами сказали вчера, что хотите отдохнуть. Не так ли? Ну вот и отдыхайте у меня. Если же у меня не понравится, можете поехать на взморье. Я иногда сам туда ежу. Согласны?" — Я молча кивнул головой. Через несколько минут мы свернули на двадцать седьмую.

* * *

Я никогда не думал, что за последние четыре года так устал. Но теперь можно было отдыхать, лежать под деревом, плавать. И ничего целый день не делать, ничего!.. Изумлял меня и мой аппетит. — Ну разве человек может так много есть? — спрашивал я самого себя. Зато мой аппетит вызывал полное одобрение Микаэлиты — домохозяйки, ключницы и правой руки мистера Уаттса.

Микаэлите было уже, наверно, за шестьдесят, но несмотря на свой возраст, она сохранила всю подвижность мексиканки и ее же говорливость. В доме мистера Уаттса власть Микаэлиты была неограниченной: ее слушались не только шофер мистера Уаттса и садовник, но и сам мистер Уаттс. Первую неделю моего пребывания на даче я провел один; мистер Уаттс вернулся только в субботу утром. Всю эту неделю Микаэлита трогательно заботилась обо мне. — Сеньор такой бледный и худой, сеньор должен больше кушать и дольше спать, — говорила она. — Сеньор Рикардо сказал мне, что сеньор очень много учился и что сеньору надо отдохнуть и поправиться, а как же сеньор может поправиться, если он не будет много кушать и долго спать? — Говорила она быстро, перемешивая английские слова с испанскими и ежеминутно восклицая: "Мадре ди Диос!" — Ну какая сеньорита станет смотреть на сеньора, если он такой бледный и такой худой?! Мадре ди Диос! Ну как его уговорить, что надо пить молоко?..

Я пил молоко, ел бифштексы, с трудом умещавшиеся на тарелку, спал до десяти и плавал в озере. В свободное от этих "трудов" время я, лежа на берегу озера, слушал птичий стрекот и смотрел на медленно плывущие по небу облака.

Вернувшийся из города мистер Уаттс с улыбкой сказал: "Видно, что Микаэлита о вас заботилась: выглядите вы куда лучше. На ученого и книжника уже не похожи. Как вы провели неделю?" — Очень неплохо. Отдохнул, плавал, ел за троих... Если Микаэлита будет на меня жаловаться, не верьте ей — я за одну неделю шесть фунтов прибавил. — Она уже жаловалась, не насчет вашего аппетита, а что вы плаваете слишком далеко. Она сказала, что будет вслед за вами посылать садовника в лодке. Я говорил ей, что вы прекрасно плаваете, но все-таки не удивляйтесь, если увидите Чарльза в лодке и со спасательным кругом в руке, плывущего за вами. Микаэлита уверена, что вы так утомлены наукой, что вам и ходить трудно, не то, что плавать... Мы оба расхохотались.

— Вот ваш контракт, мистер Мэккэроу, — продолжал мистер Уаттс, все еще смеясь. — Подпишите, в понедельник я свезу его в город. — Я вынул договор из конверта, внимательно прочел и спросил мистера Уаттса: "Почему же на пять тысяч долларов в год больше? Я рассчитывал на двадцать тысяч, а тут двадцать пять тысяч в год. Вы сами знаете, что у нас начинающий инженер получает двадцать тысяч." — Конечно, но я знаю также, что любая фирма охотно даст на пять тысяч больше молодому инженеру, окончившему институт первым. Поэтому мы и заботимся, чтобы вас не сманили конкуренты. Ясно? — Хорошо, не буду спорить: я всегда за мирное сосуществование... — Я полагаю вообще-то, что мне дадут примерно двадцать две или двадцать две с половиной тысячи: как ни верти, а кончил я первым, но двадцать пять тысяч в год я все-таки не ожидал... Что ж, прекрасно — скорей выплачу свои четырнадцать тысяч долгу, а там посмотрим...

Мистер Уаттс уехал в город в понедельник. Я остался блаженствовать на даче, успев подружиться с одной из сторожевых собак — "Волфом", громадной немецкой овчаркой. Правда, мои попытки наладить дружеские отношения с другой собакой — "Джерри", соплеменником и товарищем Волфа, потерпели полную неудачу. Джерри переносил мое присутствие на даче, но и все: дальше наше знакомство не шло.

Желая взять Волфа с собой на озеро, я забрел в домик к садовнику Чарльзу. При виде меня он быстро поднялся из-за стола. — Входите, сэр... Джерри, лежать! — скомандовал он поднявшемуся псу. Тот послушно лег, только его желтые глаза продолжали внимательно смотреть на меня.

Я объяснил причину своего визита, невольно обратив внимание на разобранный пистолет, лежавший на столе. Судя по масляной тряпке и жестянке с маслом, тоже находившимися на столе, Чарльз был занят чисткой пистолета и мой приход прервал его занятие. — Стран-

ное ремесло для садовника, — ухмыляясь, сказал Чарльз. — Вам мистер Уаттс, наверно, уже говорил обо мне и о Фрэнке, сэр?

— Да, говорил. Я знаю, что вы цветы сажаете, за газонами присматриваете. Кроме того, мистер Уаттс пошутил, что вы несете ответственность за жизнь и безопасность местного населения...

— Хозяин не шутил... Вы уже знаете Фрэнка, сэр, шофера? — Я кивнул головой. — Так вот, Фрэнк и я — мы не только шофер и садовник, но еще и телохранители.

— Кое-что об этом я слышал, но встречаться с такими людьми мне не приходилось.

— Не беспокойтесь, сэр, вам с ними придется встречаться. В здании дирекции "Кирклэнд Дженерал" всегда дежурят пять наших ребят; на даче мистера Кирклэнда — трое; мы вдвоем служим здесь. В поселке наших служащих постоянно живут два парня. Все это из нашего батальона в Корее.

Рассказ Чарльза заинтересовал меня и я спросил: "Почему же именно из вашего батальона?"

— Видите ли, сэр, майор Уаттс — брат мистера Уаттса, был нашим батальонным командиром и, надо сказать, замечательным командиром. За месяц до окончания войны майор был тяжело ранен; мы с Фрэнком вынесли его, но не успели даже на вертолет погрузить. Он так и умер на наших руках. Фрэнк был тогда сержантом и привязан к майору, как собака. Майора в батальоне вообще любили, а Фрэнк на него чуть не молился. Майор просил Фрэнка что-то передать его брату. Тут нас накрыло разрывом; у Фрэнка на левой руке два пальца оторвало, но майора мы вынесли, хоть и умирающего.

— Ну а как же вы сюда на службу попали?

— Очень просто. После демобилизации Фрэнк приехал к мистеру Уаттсу, как ему майор говорил, а мистер Уаттс оставил его у себя в качестве шофера. У самого мистера Уаттса рука была повреждена после автомобильной катастрофы, так что машину он водить не мог. Вот Фрэнк и остался у него. Потом написал мне, где работает и меня на работу сюда устроил. А остальных парней мы с ним вдвоем рекомендовали — ну, не всех, конечно, а тех, кого мы хорошо знали.

— Нравится вам эта работа?

— Конечно, нравится. Работа легкая, в садовничестве я и раньше кое-что понимал, жалованье хорошее.

— Ну, а насчет вашего "телохранительства"? Разве риска тут нет?

— Большого риска, конечно, нет. Теперь вот, в последнее время, всякие похищения богатых людей начались, чтобы выкуп за них получить. Раньше это редко случалось. Ну, если кто к нам сунется, с ним несчастье может произойти. Мы с Фрэнком в таких делах не шутим.

Мне вспомнилось лицо Фрэнка — не то, что безжизненное, а, пожалуй, бесстрастное и холодное. — Да, — подумал я, — шутить он не будет.

Словно в ответ на мою мысль, Чарльз продолжал: "Фрэнк за мистера Уаттса пойдет в огонь и воду." —И, улыбаясь, добавил: "Совсем, как Микаэлита..."

Идя к озеру в сопровождении Волфа, всячески выражавшего свое удовольствие, я не мог отделаться от вопроса: чем объяснить привязанность, которую мистер Уаттс вызывает в людях. Хорошо, Микаэлиту я еще понимаю — она его жену вырастила, всю жизнь провела в их семье, ну, а Фрэнк? Разве человек с таким лицом способен вообще к кому-либо привязаться, а вот поди же!..Ну, а я сам? Кто из меня человека сделал? Не тот же ли мистер Уаттс?

Волф остался стеречь мои сандали; я прыгнул с причала в воду и поплыл на середину озера...Хорошо!..

* * *

В середине августа, в жаркий, солнечный день, уже плывя к берегу, я заметил моторную лодку, быстро шедшую в моем направлении. Я помахал рукой — нырять от налетающей на меня лодки мне не хотелось. Лодка слегка изменила курс и замедлила ход, поравнявшись со мной.

—Хотите отдохнуть? — спросила меня сидящая за рулем молодая женщина.

Я не утомляюсь от плавания, но улыбающееся лицо, обрамленное золотистыми волосами, выбившимися из-под шарфа, было слишком привлекательно. —Спасибо, я в самом деле заплыл чересчур далеко, — сказал я, влезая в лодку. —К тому же, — добавил я, вытирая лицо брошенным мне полотенцем, — я не знал, что спасение утопающих на этом озере поручено таким хорошеньким девушкам.

—Какие красивые ноги, — думал я, искоса рассматривая ее. —Меня зовут Уолт, а вас как? —Эллен. —Красивое имя, оно очень к вам идет. — До чего же она хороша, — думалось мне. Ноги, грудь, вся коричневая от загара...Неожиданно для самого себя я вдруг привлек Эллен к себе и начал целовать ее в рот, в глаза, куда попало. От неожиданности Эллен выпустила руль из рук, и лодка заметалась по воде. —Для только что спасенного утопающего вы чересчур энергичны, Уолт! — со смехом сказала Эллен, отталкивая меня руками. —Мы знакомы только две или три минуты, а вы... — Я не дал Эллен закончить ее фразу. —Я это из благодарности, — пробормотал я, снова начиная целовать ее. —Это морской разбой! Вот и спасай утопающих! У меня уже губы болят от вашей благодарности...Следующий раз никаких мужчин моложе восьмидесяти лет не буду спасать!..Куда вас отвезти? В поселок? —Нет, вон туда, прямо к берегу. —Вы в этой феодальной крепости работаете? —Нет, провожу свой отпуск, я.. —Все ясно. Теперь я понимаю: раз вы миллионер, вам все разрешается!.. —Я не миллионер... —Раз вы не миллионер, то что вы там делаете?.. —Свой отпуск провожу. —Не убеждайте меня, что Кирклэнд Джeneral уже

сдает свои виллы на лето внаем, и сидите спокойно, а то мы опрокинемся!..

Подходя к причалу, я спросил Эллен: "Что вы собираетесь делать вечером?"—Мои добрые дела на сегодня сделаны. Я спасла утопающего, доставила его домой, вернула его семье ее главу. Теперь я поеду домой, это вон там, — и Эллен показала на три белых коттеджа на противоположном берегу, — сделаю что-нибудь себе на обед и проведу вечер, размышляя, стоит или нет спасать утопающих миллионеров. — Знаете, Эллен, поскольку вы спасли мою жизнь, это налагает на вас обязанность заботиться обо мне и дальше. Хотя бы до тех пор, пока я окончательно не приду в себя от пережитого потрясения. Поедем к вам и будем предаваться размышлениям вместе. Хорошо?..Кстати, насчет моей семьи не беспокойтесь. Я еще не успел обзавестись всем этим. —Хорошо, только обещайте хоть по дороге не целоваться, а то мы на самом деле можем опрокинуться.

Через несколько минут лодка причалила. Эллен побежала к домику, а я старательно привязал лодку...

Когда я входил в коттедж, Эллен клала кубики льда в стаканы с какой-то желтоватой жидкостью. —Или вы пьете без ничего? — спросила Эллен, протягивая мне стакан. —По правде говоря, я вообще ничего не пью... — Мой простодушный ответ вызвал искренний смех.

—Я сейчас сделаю пару сэндвичей, а то мы оба помрем с голоду, а я не для того вас спасала, чтобы уморить тут же, — сказала Эллен, уходя в кухню.

Я допил свой стакан и пошел вслед за нею.

Почти нагая Эллен, выпитый и уже начавший действовать алкоголь, аскетическая жизнь за последний год, когда у меня не было времени даже и думать о женщинах...Я взял за плечи Эллен, склонившуюся над столом, повернул лицом к себе и начал целовать. Эллен не сопротивлялась, обняла меня за шею руками и прижалась ко мне. Я взял ее на руки и понес в спальню. — Вы еще можете позвонить в полицию, Эллен, что вас куда-то несет утопленник, — сказал я, оставившись у телефона. Она только рассмеялась.

* * *

Махнув рукой, Эллен крикнула мне: "До завтра!" Лодка отчалила и понеслась по озеру. Я остался на берегу в обществе Волфа, очевидно, все это время сторожившего мои сандалии. Мы медленно пошли домой. Я пробовал разобраться в своих чувствах. Такого опьянения женщиной я никогда не испытывал, ни разу в жизни!..Чтобы опять пережить часы, проведенные сегодня с Эллен, я был согласен на все, что угодно...Только бы дождаться завтра!..

Мой аппетит, проявленный за ужином, вызвал одобрение Микаэлиты. —Очень хорошо, очень хорошо! — говорила она с улыбкой, кладя на мою тарелку гигантский бифштекс (второй по счету). —Сеньор

должен много есть, долго спать и пить молоко, иначе никакая сеньорита и не посмотрит на сеньора. Учиться — это хорошо, но что же будут делать женщины, если все мужчины будут только учиться? Так ведь нельзя, Мадре ди Диос!

—Я с вами согласен, сеньора, — ответил я со смехом. Я буду пить молоко, долго спать и много есть. Я совсем не хочу, чтобы несчастные женщины проводили свою жизнь в полном одиночестве, честное слово!

Спал я, как убитый, до девяти, но в половине десятого был уже на причале и через несколько минут моторная лодка, скользя и прыгая по утренней ряби озера, несла меня к трем белым коттеджам на противоположном берегу.

—Утопленники на этом озере какие-то сумасшедшие! — смеясь, заметила Эллен, открывая мне дверь. — Спасешь такого, а потом от него не спасешься. Что обо мне соседи будут думать?

—Только хорошее. Что может быть приличнее утреннего визита? Кроме того, я хотел поблагодарить вас еще раз за спасение моей драгоценной жизни, — сказал я, притягивая Эллен к себе и ища губами ее губы.

—Нет, нет, пустите меня!

—Не могу, я вас всю ночь не видел.

—Идем купаться, в воде вы будете вести себя приличней.

—Хорошо, только зайдем в вашу спальню: я там забыл вчера цилиндр, а купаться без цилиндра на голове — это в высшей степени неприлично...

—Уолт! Опять?!.. Хорошо, я уступаю грубой силе...

Когда мы шли купаться, было далеко за полдень.

* * *

Есть такое выражение — "пить запоем", но почему-то еще никто не догадался сказать: "любить запоем". Мое отношение к Эллен иначе назвать было трудно. Если бы я верил в колдовство, я мог бы поверить, что Эллен меня околдовала. В ее отсутствие я не находил места; когда я был вместе с нею, я терял голову. Лишь в момент, когда ее тело, темное от загара, молодое и сильное, меня слушалось, возбуждая во мне страсть, о существовании которой я не подозревал в себе, только в эти минуты я был счастлив.

Эллен разделяла мою страсть, отзываясь на все мои желания. Часто, прижимаясь всем телом ко мне, она шептала мне на ухо: "Я никогда не была такой счастливой, никогда!.."

Собственно, я ничего не знал об этой женщине, знал только, что люблю ее до безумия. Она работала где-то машинисткой. Семьи у нее не было.

* * *

Приближался сентябрь, надо было возвращаться в город. Я попросил Эллен дать мне номер ее телефона. —Я меняю квартиру, — ответила мне она, — я сама вам позвоню потом. —Но ведь я сам не знаю моего телефона; у меня его вообще еще нет. —Я позвоню в "Кирклэнд Дженерал", если надо, то самому мистеру Кирклэнду и моментально узнаю. Не думайте, Уолт, что вы от меня так легко отделаетесь... А, может, я вам надоела и вам со мной скучно? Тогда я не буду звонить... —Я зажал ей рот поцелуем.

Два месяца, проведенные на даче, пролетели, как молния. Я был искренне благодарен мистеру Уаттсу: никогда в моей жизни я не отдыхал так хорошо и беззаботно. Да и не только он — все относились ко мне тепло и душевно...

Высказывать благодарность надо умеючи. Эту истину я уяснил себе, когда на прощание протянул Микаэлите банкнот в двадцать долларов.

Черные глаза метнули молнии. —Сеньор Вальтер! В этом доме дружба не продается за деньги!.. —Ее голос приобрел неожиданный металлический оттенок. —Я не хотел вас обидеть, сеньора. Я просто не знал, как вас поблагодарить. Простите меня... —Я не сержусь, сеньор. Вы — друг сеньора Рикардо, но вы ведь не подадите ему двадцать долларов в знак благодарности. Я рада, что вы довольны вашим отдыхом. —Микаэлита улыбнулась. —Какие они глупые, эти ученые люди! Все знают, а сами хуже детей. Приезжайте опять. Вайа кон Диос, сеньор!..

* * *

За эти годы я видел мистера Кирклэнда несколько раз, правда, издалека. Разговаривать мне с ним, понятно, никогда не приходилось, О чем мог бы я говорить с президентом или с королевой Великобритании? Или с мистером Кирклэндом?

—Вам не жалко, что вы не остались при институте, мистер Мэккэроу? — спросил мистер Кирклэнд после того, как мистер Уаттс представил меня.

Я слегка замешкался с ответом. Мистер Кирклэнд ободряюще улыбнулся.

—Мне ваш декан кое-что рассказал. Да и профессор Свенсон, говоря о вашей дипломной работе, рекомендовал обратить внимание на некоторые оригинальные идеи, которые вы в ней проводите. Так что, мистер Мэккэроу, мы знаем о вас очень много, даже, пожалуй, больше, чем вы думаете. —Мистер Кирклэнд снова улыбнулся. —Мы должны знать наших сотрудников. Итак, подыскивайте себе квартиру: вы

будете работать на одном из местных заводов. Отдел кадров сообщит вам подробности.

* * *

Квартиру я нашел на следующий день, а в здании дирекции мне дали кабинет одного из наших консультантов — инженера Максуэлла, уехавшего в командировку в Швецию. Я зашел в отдел кадров, где мне сказали, что раньше понедельника никаких подробностей насчет моей работы они сообщить не могут.

Я вернулся в кабинет, удобно устроился в глубоком кресле и с удивлением заметил, что мне становится скучно. Ждать всегда скучно, но что же делать? Зайти в конструкторское бюро, повидать мистера Симпсона? Хорошо, зайдем, побеседуем. К чертежникам я, пожалуй, не пойду. Как-то нетактично. Они могут подумать, что просто пришел похвастаться своими успехами. Да и Майк там. Он парень симпатичный, конечно, но может зайти речь о Мэдж и нам обоим будет неловко.

Телефон на письменном столе зазвенел вполголоса. Я поднял трубку. — Вы меня еще не забыли, Уолт? — спросил смеющийся голос. — Эллен?.. Вы?.. — Конечно, я. Видите, как быстро я вас разыскала? Не прерывайте меня. Запишите: 217 Блэкридж Род, апартамент 244, сегодня вечером в восемь часов. Конец передачи. — Эллен, Эллен! — крикнул я в телефон. Телефон молчал.

Кто здесь только что жаловался на скуку? Я? Не может быть! Что, только половина третьего?!.. Ах, чтоб тебя!..

* * *

В золотистом платье, с вышитыми смешными черными драконами, Эллен выглядела захватывающе. Пока она ставила розы в вазу, я стоял и любовался ею: это была другая женщина — не та, которую я встретил шесть недель назад на озере. Теперешняя Эллен была, пожалуй, еще красивее, но было в ней что-то совсем новое. Что именно, я не мог понять. Может быть, секрет был совсем прост: другие духи или экзотическое платье — неважно! Это привлекало и дразнило...

Она поставила цветы, отступила на шаг от стола, чтобы посмотреть на них, и, все еще смотря на вазу, протянула ко мне руки.

Оторваться от Эллен было невозможно. — За это время вы окончательно испортились, Уолт! — сказала она, наконец, в перерыве между поцелуями. — Посидите минуту, я должна хоть губы подкрасить... А вы-то хороши!.. "Вождь краснокожих на военной тропе" — она вытащила из бокового кармана моего пиджака платок и начала вытирать мне лицо. — Идет в гости к мало знакомой даме, а все лицо раскрашено. Ну и тип... Даже за ухом губной карандаш!.. Минутку... Вот так... Теперь вы уже похожи на бледнолицего. Сидите, я сейчас вернусь.

Мебель в гостиной была расставлена по местам, но в углу комнаты еще стояли два больших неоткрытых ящика. Через раскрытую дверь из гостиной был виден стол с двумя приборами. На буфете стояли бутылки.

И мебель, и ковры, покрывавшие пол в гостиной и столовой, говорили о хорошем вкусе и, очевидно, стоили недешево.

Я пошел в столовую, сделал два коктейля, положил в них лед и стал ждать Элен. — Вот хороший мальчик, — сказала она, входя в столовую. — Даже коктейли умеет делать. Предсказываю вам успех у женщин: пылкий любовник, умеющий делать хорошие коктейли, — это все, о чем может мечтать женщина. А теперь будем обедать...

Обед прошел весело. Я рассказал Элен о моем разговоре с мистером Кирклэндом, сказав, что мы будем встречаться очень часто, что я исстрадался за время нашей разлуки...

— Я еще не успела устроиться на новой квартире, — сказала Элен. — Только позавчера переехала. — Мне все здесь нравится, особенно хозяйка, — заметил я. — Но вашу спальню я еще не видел... — Уолт! Какой вы... Хорошо, допивайте кофе, через несколько минут я покажу вам спальню. Оставляю вас одного. Через пять минут приходите в спальню. Нет, через три...

Три минуты прошли. Я открыл дверь и остановился. Лампа на ночном столике, заливавшая комнату розовым слабым светом, выхватывала из полумрака нагое женское тело. Элен лежала на кровати, закинув руки за голову. Мягкий свет не подчеркивал красоту ее тела; он лишь заставлял догадываться об этой красоте и возбуждал нетерпение.

Картина была почти нереальна по своей красоте, и я инстинктивно боялся, что если я скажу слово или двину рукой, она исчезнет. Впечатление было настолько сильным, что я продолжал стоять неподвижно. Элен одним рывком сорвалась с кровати и кинулась мне на шею.

* * *

Судьба, очевидно, решила вознаградить меня за мою горькую, полную лишений, молодость. Она исполняла все мои желания. Она дала мне мою любимую профессию, любимую женщину, прекрасное здоровье, положение в обществе. Она дала мне и друга в лице мистера Уаттса.

Наши отношения с ним за последние два года приняли оттенок сдержанной мужской дружбы. Я был глубоко ему благодарен: он сделал из меня то, чем я стал, но громко не говорить ему об этом я, конечно, не собирался. Как принято замечать в таких случаях, "мужская любовь молчалива"...

Встречался я с мистером Уаттсом каждый день. Иногда мы вместе обедали в соседнем ресторане, иногда он заходил в мой кабинет. Именно от него я узнал о решении мистера Кирклэнда направить меня в командировку в Шотландию. Это было заманчивое и деликатное поручение, свидетельствовавшее о том, что меня высоко ценили "в верхах". Имелось в виду выяснить на одном из шотландских заводов, насколько близко было техническое нововведение, примененное тамош-

ней фирмой "Эдинбург Электрик", моему проекту, уже использованному в нашей работе. Следовало уточнить некоторые детали, чтобы избежать недоразумений при получении патента.

—Возможно, — сказал в разговоре со мной мистер Уаттс, — мы вскоре купим "Эдинбург Электрик". Тогда не исключено, что исполнится всерьез шутовское намерение мистера Кирклэнда сделать вас директором "Эдинбурга". Он ведь упрямо считает вас из-за вашей фамилии шотландцем по происхождению, и сказал по этому поводу, что шотландцу, мол, всегда легче договариваться с шотландцами... Лично я не знаю, чем все это кончится, но вы должны рассматривать решение мистера Кирклэнда как внеочередное повышение по службе.

После беседы с мистером Уаттсом я позвонил Эллен. Мой новый успех решено было отметить ужином в ресторане. Вернувшись домой к Эллен и еще раз подробно рассказав о предстоящей поездке в Шотландию, я обратился к ней с вопросом, который задавал уже много раз: "Когда вы выйдете за меня замуж, Эллен?" На этот, ставший стереотипным, вопрос всегда следовал столь же стереотипный ответ: "Зачем нам связывать друг друга? Женитьба нам ничего нового не даст. Не надо об этом говорить..."

Этот ответ я услышал снова. На следующий день, возвращаясь с работы, я зашел в ювелирный магазин и купил браслет, которым Эллен часто любовалась, когда мы иногда останавливались у витрины — платина с тремя крупными жемчужинами.

Надевая браслет на руку Эллен, я опять спросил: "Когда же наша свадьба?" К моему удивлению, она начала плакать. Кое-как удалось мне ее утешить обещанием больше не говорить о свадьбе. В эту ночь Эллен была необыкновенно нежна со мной. Под утро, когда я уже уходил, она еще раз обняла меня и, прижимаясь всем телом ко мне, шепнула: "Я никого никогда так не любила, как вас, Уолт...Никого..."

* * *

Шотландцы оказались радушными хозяевами и на редкость симпатичными людьми. С высшим техническим персоналом "Эдинбурга" я быстро сошелся: один из директоров пригласил меня в первый же уикэнд после моего приезда на охоту на куропаток в его имении.

Моя "шотландская" фамилия заинтересовала хозяина и двух его соседей, принимавших участие в нашей охотничьей экспедиции. Сидя вечером у камина, один из них, очевидно, знаток шотландской геральдики и кланов, поведал, что клан Мэккэроу, правда, очень малочисленный, когда-то существовал и был почти поголовно уничтожен Кромвелем. На вопросы о моем происхождении я, не слишком расходясь с истиной, отвечал, что родителей я не помню и что от них, помимо фамилии, ничего не унаследовал.

Эллен прилетала ко мне из Америки каждый месяц на несколько

дней. Когда мистер Мэкдональд — мой гостеприимный друг, узнал об ее очередном визите, он передал нам настойчивое приглашение провести время вместе с ним одной компанией.

Эллен совершенно очаровала старого холостяка Мэкдональда. Всегда немного чопорный и холодноватый, на другой день нашего пребывания у него Мэкдональд торжественно заявил: "Во-первых, она — настоящая лэди, во-вторых, она прелестна!.." Он пристально посмотрел на меня и медленно перевел взгляд на два тяжелые обосечные клаймора, висевшие над камином, очевидно думая, какой из них предложить мне, если б я осмелился не согласиться с его мнением. Дуэль не состоялась — я был с ним совершенно согласен.

* * *

Подробный доклад о всем, что я узнал в Эдинбурге, я отправил через пять месяцев. Собственно говоря, ничего нового я не нашел. Мои собственные идеи шли гораздо дальше и обещали больше, чем все то, что я видел в "Эдинбург Электрик". Но мне не хотелось уезжать из Шотландии, и я предложил мистеру Кирклэнду остаться здесь еще на некоторое время, чтобы ознакомиться с производством кабелей высокого вольтажа. Мистер Кирклэнд дал свое согласие.

Эллен всегда сообщала мне по телефону, когда она прилетит, и я встречал ее в эдинбургском аэропорту на следующий день утром.

На этот раз ее на самолете не было. Почему? Она же звонила вчера, что в восемь часов будет в Эдинбурге. Этого с ней никогда не случилось... Недоумевающий и разочарованный, я поехал на завод, откуда немедленно позвонил на квартиру Эллен, однако ответа не было.

Возможно, она была на службе в адвокатской фирме, где работала машинисткой. От волнения я не мог припомнить название фирмы.

Мистер Уаттс познакомился с Эллен года два тому назад. Я знал, что она ему понравилась, он мне сам об этом говорил. О моих свадебных предложениях Эллен я никогда не упоминал — кому приятно признаваться в неудачах?

Мистер Уаттс сделает все возможное, если я попрошу его. Он все выяснит. В своих предположениях я не ошибся. Его спокойный голос действовал на меня отрезвляюще. — Возможно, мисс Вилкинсон сейчас сидит за машинкой и спешно отстукивает апелляционную жалобу в Верховный Суд. На самолет она могла опоздать и забыла позвонить... Слушайте, Уолт, я немедленно свяжусь с шефом охраны и завтра мы будем знать больше. Одну минутку, я только запишу ее адрес. Позвоню вам завтра. Не расстраивайтесь, Уолт...

Мистер Уаттс и я перестали звать друг друга по фамилии уже два года тому назад, перейдя по его предложению на простое обращение по имени. Это случилось, помнится, в один из моих визитов к нему, когда я без утайки рассказал всю мою жизнь. В ту ночь мы за сиделись, и несколько лишних коктейлей сделали нас более разговор-

чивыми, чем обычно. В первый раз я мог заглянуть в душу этого, по виду столь хладнокровного человека и удивиться, сколько грусти и даже боли скрывалось за маской всегда невозмутимого, почти никогда не улыбочивого лица. В ту ночь я еще раз изменил свое мнение об американцах: такие же, как и мы, разве только более сдержанные. Конечно, его тоска по жене и по брату, даже и по не родившемуся ребенку, — это скорее скандинавские черты характера: недаром его дед был норвежским китоловом.

Домой меня в ту ночь отвез Фрэнк — Роберт не согласился, чтобы я сам вел машину...

К телефону вызвали меня прямо из заводского цеха. Я прошел в свой кабинет, поднял трубку. Голос Роберта, как всегда холодно-ватно-отчетливый, сказал: "Я уже в состоянии сообщить вам о случившемся, Уолтер, но это неприятные новости." —Я проглотил слюну и, стараясь быть спокойным, ответил: "Хорошо, Роберт, скажите, что же случилось?" —Мисс Вилкинсон в госпитале, но состояние ее здоровья не внушает опасения... —В чем же дело, Роб? Тогда все хорошо...Я так рад!..Я прилетаю завтра!.. —Дело не в состоянии здоровья мисс Вилкинсон, Уолтер. — Я изумился. —Я не понимаю, о чем вы говорите, Роберт. Объясните, пожалуйста. — Хорошо, Уолт, я расскажу все, что я знаю, но еще раз говорю, что вам будет тяжело слушать. Так вот, во всех газетах сегодня утром была краткая заметка о столкновении двух автомобилей на углу Робертсон и 17-ой авеню, знаете, по дороге в аэропорт. Это случилось вчера в три часа утра. Находившийся в одной машине глава адвокатской фирмы Чарльз Реннер и его секретарша мисс Эллен Вилкинсон были доставлены в Саудсайд госпиталь для оказания первой помощи...

—Роберт, что ж тут такого особенно страшного? Автомобильный инцидент и ничего больше!..

—Дайте мне закончить, Уолт. Все это было в больших газетах и, действительно, не представляет ничего особенного. Но, может, вы случайно помните этот желтый листок "Скандал"?..Помните?..Так вот, в нем появился снимок мисс Вилкинсон рядом с разбитым автомобилем и заметка под заглавием "Известный адвокат и "барышня по вызову" в одной машине и в одном госпитале." Что пишут о Реннере, это неважно, а насчет мисс Вилкинсон сказано: "самая дорогостоящая "барышня по вызову" в деловых кругах Сити". Уолт, Уолт, вы меня слышите?.. —Да, — выдавил я из себя. —Что вы собираетесь делать, Уолт, лететь к нам?.. —Я не знаю, я ничего не знаю. —Я сочувствую вам, Уолт. Поезжайте домой, а то возвращайтесь к нам. Если я что-либо могу для вас сделать, скажите. —Спасибо, Роберт. Я, пожалуй, поеду домой...

* * *

Старое шотландское виски не действовало. Я выпил полную бутылку и не охмелел. Не раздеваясь, лег я на кровать и заснул тяжелым, тревожным сном.

Утром было не легче. Я все продолжал чего-то ждать — чего, я и сам не знал.

В полдень в мой кабинет зашел мистер Мэкдональд и пригласил меня поехать к нему на уикэнд сразу после работы. — Захватите мисс Вилкинсон, — сказал он, — и прямо ко мне. Вы, молодежь, можете на лыжах побегать: у нас в горах уже достаточно снегу выпало... Что с вами, мистер Мэккэроу? — с удивлением спросил он, внимательно вглядываясь в мое красное, опухшее лицо и, очевидно, впервые замечая мой помятый костюм. — Что случилось? — Мисс Вилкинсон не может прилететь, она в госпитале. Автомобили столкнулись... — Надеюсь, ничего серьезного?.. — Да нет... — Ну, тем более вам надо поехать и придти в себя. Все будет хорошо, не принимайте это так серьезно. Могут быть вызовы из Америки? — Это возможно, мистер Мэкдональд. — Хорошо, моя секретарша сообщит телефонной станции, чтобы все ваши личные вызовы переключили ко мне в Фицхэм. Да вы не отчаивайтесь так, мой друг, — сказал он, кладя руку мне на плечо. — Мисс Вилкинсон молодая и здоровая девушка. Вы сами говорите, что ничего серьезного не случилось. Увидите, через неделю она будет опять с нами. Эх вы, молодежь, все-то вы преувеличиваете...

В Фицхэме я пробыл не только уикэнд, но и всю следующую неделю. Это мне предложил сам мистер Мэкдональд. — Отдохните. Вы и летом отпуска не взяли. Если будут письма или телеграммы, я все это перешлю сюда.

По утрам я надевал лыжи и уходил на целый день. Безрадостный шотландский ландшафт, полузанесенные снегом скалы, ложбины, летом цветущие лиловым вереском, а сейчас покрытые глубоким снегом, с кое-где видными засохшими веточками вереска, только усиливали мою тоску. Но сидеть целый день в библиотеке, у камина, думая об одном и чувствуя свое бессилие изменить случившееся, было еще хуже.

Кроме того, лыжи вызывали физическую усталость, и я спал по ночам мертвым сном.

От Эллен, да и вообще из Америки, не было никаких известий. Телефон, стоявший на письменном столе в библиотеке, молчал.

Зазвонил он в четверг вечером. — Ну, как вы, Уолт? — спросил голос Роберта. — Ничего, бегаю целый день на лыжах по горам до полного изнеможения. Что у вас нового? — Новости нехорошие. Сказать вам?

— Да, да, говорите, Роберт.

— Я поручил директору нашей безопасности узнать все подробности о мисс Вилкинсон. Час тому назад он принес данные. Итак: миссис Вилкинсон, девичья фамилия — Хэстингс, год рождения — 1936, место рождения — Ленсбэрри в штате Небраска. Образование — средняя школа и два года колледжа. Была замужем за профессором небраскского университета и оставила его в 1956 году. Была на содержании у... — Хорошо, Роберт, не называйте имен... — Ладно, не буду. В общем, их

было трое. Директор фирмы, где она была занесена в списки служащих как машинистка-секретарша, является четвертым по счету. В газетах пишут, что его жена начинает бракоразводный процесс...—Спасибо, Роберт. —Одну минуту, Уолт. Из госпиталя мисс Вилкинсон вышла во вторник и на такси приехала к себе домой. Часа через полтора, примерно, она вышла из дома с небольшим чемоданом в руке и на своем автомобиле уехала. Агент, наблюдавший за домом, пробовал следовать за ней, но вскоре потерял ее из виду. Хотите вы продолжать розыски? Мы сумеем ее найти. —Нет, не надо, Роберт. Все ясно. —Не огорчайтесь, Уолт! Найдете другую девушку, их много...—Но Эллен не была моей содержанкой, я хотел на ней жениться... —Роберт долго молчал. —Я никогда об этом и не думал, Уолт. Это меняет дело. Но разве вы ничего не замечали? —Что же я должен был заметить? Денег у меня Эллен никогда не просила; изредка я ей делал пустяковые подарки. За все это время я подарил ей только платиновый браслет с жемчугом, вот и все... —Да, на профессионалку это не похоже. —Я ее много раз уговаривал выйти за меня замуж, но она отказывалась...А в общем, ладно, Роб, спасибо, что позвонили. —Прислать вам эти документы? —Нет, на что мне они? —Не расстраивайтесь, Уолт, в жизни многое случается. Звоните...

* * *

Проект Мэккэроу, как он теперь официально назывался, прошел все испытания на заводе номер два и был передан на производство. Признательность "Кирклэнд Дженерал Моторс" выразилась в виде чека на очень солидную сумму. Чек на квартиру ко мне привез сам мистер Кирклэнд, приехавший в сопровождении Роберта. Был уже поздний субботний вечер. Видя мое слегка удивленное лицо, мистер Кирклэнд засмеялся и сказал: "Мы знаем, что это ваше частное время, но мы с Робертом привезли заранее и сверхурочные". Роберт бывал у меня довольно часто, но визит самого мистера Кирклэнда был полной неожиданностью.

Этот простой с виду, пожилой человек, с большой уже проседью на висках, ведя со мной как будто бы совсем нейтрально-светский разговор, поразил меня остротой своего мышления. В этот вечер я по-настоящему понял, как была создана империя "Кирклэнд Дженерал Моторс" и каким творцом-мечтателем был ее создатель.

Я был благодарен за чек, но совсем не обрадован предложением поехать на шесть месяцев в Детройт. Этого еще нехватало!..С таким же успехом я могу отправиться и на фабрику детских колясок...Примитивные моторы, штамповочное производство...

—Да вы не огорчайтесь, мистер Мэккэроу, — прервал мое молчание мистер Кирклэнд. —Я сам знаю, что вам на детройтском заводе делать нечего. Вопрос в том, чтобы подтянуть нашу администрацию, а то аппарат у нас из года в год увеличивается вне всякого соответ-

ствия с продукцией. Я хочу, чтобы вы познакомились на месте, как там, в Детройте, обстоит дело с этой проблемой.

* * *

После шестимесячного пребывания в Детройте, самом грязном и самом скучном городе во всей Америке (за исключением Чикаго) я вернулся домой с обширным докладом в портфеле.

Совет директоров во главе с мистером Кирклэндом заслушал меня и поручил одному из своих членов, начальнику отдела кадров и мне составить сопоставительные таблицы кадров администрации "Кирклэнд Дженерал Моторс" и двух крупнейших предприятий в автостроительной промышленности, что мы и сделали. Наши рекомендации легли в основу работы по использованию кадров на ближайшие три года.

Осенью умер вице-президент "Кирклэнд Дженерал Моторс" мистер Скиннерс, старый друг шефа, вместе с ним работавший на заводе номер два еще при жизни отца мистера Кирклэнда. Он болел уже несколько лет и почти не показывался у нас в дирекции. На его место Совет директоров назначил мистера Уаттса.

Вечером того же дня я поехал поздравить Роберта. Его назначение не было неожиданным для нас обоих. Меня, однако, удивило равнодушие, с которым он отнесся к самому факту. — Неужели звание вице-президента "Кирклэнд Дженерал Моторс" не имеет в ваших глазах никакого значения, Роб? — спросил я. — А какую ценность представляет оно по-вашему? — Встречный вопрос ошеломил меня. Помявшись минуту, я пробормотал: "Честно говоря, не знаю." — Почему же тогда я должен знать? Старика Скиннерса я замечал уже несколько лет неофициально. Лишние восемьдесят тысяч долларов в год, из которых более половины пойдет в сундуки дяди Сэма, меня мало интересуют: я человек не бедный. Положение в так называемом "обществе" меня не интересует ни в малейшей степени. Работать для фирмы я буду точно так же, как работал последние тридцать лет — это единственный интерес в моей жизни после того, как я потерял семью... — Роберт сделал глоток из своего стакана, помолчал и вдруг спросил: "Ну, а как вы отнесетесь к вашему назначению вице-президентом, Уолт?" — Очевидно, я выглядел глупо, потому что Роберт рассмеялся. — Нет, абсолютно серьезно, я не шучу. Мистер Кирклэнд хотел вам это завтра сказать, но он не рассердится, если я чуточку опережу его. Руководство ведь тоже надо планировать; оставлять это на милость случая мы не имеем права. В случае смерти мистера Кирклэнда я наследую "Кирклэнд Дженерал" в полном смысле этого слова — вы знаете, что восемьдесят шесть процентов акций принадлежат ему. Это все, вместе с титулом президента корпорации, наследую я. Вы становитесь ее вице-президентом, и мы с вами подыскиваем следующего "наследника". У Джеффа родни нет. У меня нет детей, а мои родители и так достаточно богаты. Оба мы и живем толь-

ко для "Кирклэнд Дженерал". К вам мы долго присматривались. Нам кажется, что и у вас другой цели в жизни нет. Отсюда наш вывод и выбор... Ваше здоровье, мистер Уолтер Мэккэроу, будущий президент "Кирклэнд Дженерал Моторс"!

* * *

Вернувшись домой, я не пошел спать, а долго сидел, размышляя. Что двигало в жизни мистером Кирклэндом и ему подобными людьми-созидателями? Желание сотворить нечто очень основательное? Но для чего или для кого? Король умер — да здравствует король?.. На каких слабых ногах стоит этот гигант... Вдруг король окажется безумцем?..

То, что мне сказал Роберт, на утро подтвердил мистер Кирклэнд. — Да, уходим мы, старики. Не за что благодарить, Уолт. Кстати, зовите меня Джэффом... Черт вас возьми! Благодарить меня не за что. Роберт — так он даже не сказал "спасибо" вчера, а просто: "Хорошо, Джэфф". Когда меня не будет, Уолт, вспомните при случае мои слова: "чего у вас нет, того даже "Кирклэнд Дженерал" не может вам дать".

* * *

Ничто в наших отношениях не изменилось, разве только то, что в разговоре с мистером Кирклэндом я его теперь называл Джэффом, а он меня Уолтом, иногда Уолтером. Вот и все. С Робертом вне службы мы встречались раз в неделю, попеременно у меня и у него, в пятницу вечером.

Однажды, протягивая ему стакан виски со льдом, я спросил его: "Помните, Роб, как давным-давно вы целый вечер истязали меня моими "посредственными способностями"? Это было после моего первого полугодия в школе, помните? Я ведь убить вас мог тогда, мне уже все было безразлично." — Я вовсе не рассчитывал, что вы меня убьете, а разозлить вас было необходимо. Не разозли я вас тогда, вы были бы сегодня старшим чертежником, а не человеком с почти неограниченными возможностями в будущем. — Ну, хорошо, а почему вы мне дальше помогали? — Трудно сказать, Уолт. Причин было несколько. Во-первых, меня поражало ваше упрямство и желание учиться. Во-вторых, меня интересовало, чего может достичь человек в чужой стране, без знания языка, без денег и без друзей, но человек, обладающий сильной волей, если его толкнуть на правильную дорогу. Ну, и потом это ваше сходство с моим братом — Томом. Теперь, когда я уже не могу точно вспомнить лицо Тома, а вас вижу каждый день, мне иногда кажется, что вы на самом деле Том. Двадцать лет тому назад я, конечно, замечал разницу, но и тогда сходство было поразительным. — Роберт засмеялся. — Фрэнк, как вас первый раз увидел, все шептал: "майор, майор!" И Миказлита тоже...

* * *

Время идет, идет... Чем выше поднимаюсь я, тем страшнее становится мое одиночество. Кроме Роберта, друзей у меня нет. Наши молодые инженеры считают меня холодным и безжалостным, они находят, что я слишком много от них требую. Они не понимают, что от себя самого я требую гораздо больше...

* * *

В это серое декабрьское утро я опоздал на несколько минут... Дверь в мой кабинет была полуоткрыта. За столом сидел Джэфф. Он был в пальто и его шляпа лежала на столе. Увидя меня, он поднялся из-за стола, надел шляпу и сказал: "Едем в госпиталь". — В чем дело? — спросил я. — С Робертом удар. Его только что увезли в госпиталь. Его секретарша говорит, что он вошел в свой кабинет, начал снимать пальто и упал.

По дороге в госпиталь мы молчали, занятые грустными мыслями. В госпитале нам сообщили, что Роберт помещен в камеру интенсивного ухода и что до сих пор он не пришел в сознание. Мы вернулись к себе, но работать я не мог и бесцельно вышагивал по кабинету. Часа два спустя Джэфф, войдя ко мне, вполголоса произнес: "Роберт умер пять минут тому назад..." Мы оба несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Потом Джэфф сказал: "Займитесь похоронами, Уолт. Я не в состоянии ничего делать. Поручите это отделу кадров. Послезавтра все наши предприятия не будут работать в знак траура по Роберту. А самое главное, Уолт, немедленно летите к его родителям. Нельзя допустить, чтобы они узнали из газет. Если надо, оставайтесь там на день или два."

* * *

Я подал визитную карточку пожилой женщине в переднике, открывшей мне дверь, и попросил сообщить мистеру Уаттсу, что я хочу поговорить с ним по частному делу. Через минуту она пригласила меня в его кабинет.

В мистере Уаттсе, несмотря на его семьдесят с лишним лет, не было ничего старческого. Ни его походка, ни его рукопожатие не выдавали возраста. Здороваясь со мной, мистер Уаттс сказал: "Роб нам много о вас рассказывал, так что для нас вы не чужой. Что-нибудь случилось, мистер Мэккэрзу?" — В его голосе угадывалось некоторое беспокойство. — Мистер Уаттс... — я почувствовал, что у меня пересохло в горле. — Мистер Уаттс, я должен сообщить вам... Роберт умер сегодня утром от разрыва сердца..."

Мистер Уаттс медленно опустился в кресло и так же медленно

опустил голову на грудь. Я тоже сел. Молчание длилось нестерпимо долго.

—Как нелогично, — сказал, наконец, мистер Уаттс. — Двое молодых и сильных умирают, а я, старый и никому ненужный, продолжаю жить... Том, а теперь Роб... За что же это?.. За что?..

Он замолчал и продолжал сидеть неподвижно, смотря куда-то невидящими глазами. Он казался воплощением величаво-мужественной скорби, безнадежной и не желающей помощи. Да и кто бы мог ему помочь?..

—Я могу быть вам чем-нибудь полезен? — осторожно начал я. — Едва ли, мистер Мэккэроу, — ответил он. — Разве вот что... Сообщите вашей дирекции, что похороны будут здесь... Они будут рядом... Роб и Том... А сейчас я должен пойти подготовить мою жену... Простите...

Оба последующие дня я не переставал удивляться, откуда у мистера Уаттса брались силы утешать и успокаивать миссис Уаттс. Видимо, они очень любили друг друга. Уже после похорон, когда силы мистера Уаттса были на исходе, она стала сама заботиться о нем с той же трогательно-бережливой выдержкой чувства.

* * *

С тех пор прошло почти два года. Я — вице-президент "Кирклэнд Дженерал Моторс", а на самом деле — президент, поскольку Джэфф тяжело болен и почти не покидает санатория. Роб оставил мне по завещанию свою виллу, а вместе с ней Микаэлиту, Фрэнка и Чарльза. Хотя Роб позаботился и о них, так что они могли бы и не работать, все они предпочли остаться со мной.

* * *

Бездомный остовец из Смоленска Володька Макаров завершил вторую часть своей программы. Никто не посмеет унижить меня ни словом, ни делом. Я — сила, с которой считается правительство Соединенных Штатов. Я в состоянии влиять на экономику страны; я влияю на иностранную политику. Многого ли стоит эта сила? По-видимому, да. Но...

Дорогой ценой я заплатил за могущество. Заплатил одиночеством и презрением к людям. А, собственно, к чему мне все это?..

* * *

Мистер Пеннингтон, директор отдела кадров, сообщил мне, что между двумя молодыми инженерами, работающими в нашем конструкторском бюро, произошла крупная ссора. В таких случаях мы обычно переводим зачинщика на другой завод. Я попросил мистера Пеннингтона оставить у меня личные дела обоих...

С инженером Уильямсом все было ясно с первых же строк первой же бумажки. Он был зачинщиком ссоры. Выходец из богатой семьи... Так, так... Средние успехи в институте. Прогулы... Вспыльчив, не может ладить с сотрудниками. Что ж, как раз Монтана просит дать им инженера на место вышедшего на пенсию. Значит, мистер Уильямс поедет в Монтану. Тамошний директор, кажется, крутой человек. Через год мистер Уильямс научится ладить с сослуживцами или будет подыскивать другую работу.

Эрих Мария Циммерман. Иммигрант. Немец по рождению. Место рождения — Дюссельдорф. Средняя школа и политехникум в том же Дюссельдорфе. Поступил к нам четыре года назад. Хороший работник. Знание английского языка посредственное.

Циммерман... Макс Циммерман. Два яйца и буханка хлеба на Пасху. Газеты приносил в барак... Этих Циммерманов в Германии столько же, сколько у нас Смитов.

Я нажал кнопку интеркома. — Мистер Пеннингтон, пригласите инженера Циммермана ко мне. Благодарю вас...

Эрих Мария Циммерман не выглядел красавцем. Выше среднего роста, сутулый, в очках, длинные руки. Неожиданный зывов к вице-президенту не мог предвещать ничего доброго.

— Мистер Циммерман, расскажите мне, что произошло вчера между вами и Уильямсом.

— Я делал вычисления, а мистер Уильямс подошел к моему столу и начал рассказывать анекдот. Я ему сказал, что у меня срочная работа и что он мне мешает. С этого началось. Мистер Уильямс сказал, что немцы понимают только ругань или приказания, а чувство юмора у них вообще отсутствует. Я его попросил уйти. Тут он вспылил и начал что-то кричать, но я плохо его понял. Что-то о демократии и нацизме...

— Хорошо, мистер Циммерман, расскажите о себе. Вы родились и учились в Дюссельдорфе. Это мне известно. У вас там семья?

— Только дядя. Родителей у меня нет. Они погибли во время бомбежки. У дяди был часовой магазин, и они все там в подвале прятались во время налетов. Там их всех и убило.

— Как же ваш дядя уцелел?

— Он был мобилизован в фолкштурм и был тогда в охране лагеря рабочих-остовцев в Ротенбурге. — Эрих Мария усмехнулся. — Дядя Макс в роли героического защитника Третьего Рейха. — Эрих Мария сконфуженно помолчал. — Вам это неинтересно, мистер Мэккэроу, я разговорился...

— Нет, это любопытно... Расскажите про вашего дядю подробнее.

— Да что в нем особенного?.. Ему уже за восемьдесят, но он еще довольно бодрый. На один глаз почти не видит, это правда, а так любит ходить на прогулки, за своими канарейками смотрит. Память у него хорошая, интересно рассказывает про нашу семью, про войну.

Несколько раз рассказывал, как он один из всей охранной команды в Ротенбурге уцелел. Всех их остовцы перебили, коменданта лагеря повесили, а дядю спас какой-то русский. Он даже фамилию называл. Да, да, Макаров, Володя Макаров... Видите, какая у него редкостная память, все отлично помнит...

Это было уж слишком... Чтобы скрыть свое волнение, я начал машинально листать папку с делом Циммермана, потом посмотрел в сторону и только потом взглянул на него.

— Хорошо, мистер Циммерман... Вернемся к делу. Вы довольны вашей работой?

— Нет, мистер Мэккэроу. Она мне совсем не нравится... — Ответ Циммермана меня удивил. — Почему же? — Когда я поступил к вам, я думал, что буду работать на заводе, как и полагается инженеру, а я вот уж пятый год делаю расчеты для конструкторского бюро. Сначала мне сказали, что это временно, а потом, должно быть, просто забыли... Мистер Мэккэроу! — В голосе Циммермана зазвучали умоляющие нотки. — Дайте мне работать на заводе. Пусть даже за меньшую плату... Я работать хочу, а не вычислениями всю жизнь заниматься... Я люблю свою профессию, мистер Мэккэроу, я буду хорошим инженером, уверяю вас.

— Хорошо, мистер Циммерман. Мы пошлем вас на завод.

— Спасибо, мистер Мэккэроу, спасибо. Разрешите идти?... Сегодня же дяде напишу, что вы вовсе не такой, как о вас рассказывают... — Эрих Мария заплетаящейся рысцой побежал к дверям.

* * *

Я вызвал по интеркому мистера Пеннингтона и сказал: "Мистер Пеннингтон, оформите перевод мистера Уильямса в Монтану и мистера Циммермана на завод номер два. Об исполнении доложите. Благодарю вас, мистер Пеннингтон."

Я откинулся в кресле. Может быть, я думал о чем-то, а может быть, и нет. Вряд ли о Циммермане как таковом. Но его голос словно звучал в моем сознании, сливаясь с другими, полузабытыми голосами... Итак, немец-инженер, племянник того самого Циммермана... Занятно... Что ж, я давал ему шанс. Это было, конечно, не все, но это могло быть началом...

Конец

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

ДОН ЖУАН.

Роман в стихах.

Вступление.

1

Писать роман - нелегкая работа.
Еще трудней - писать роман в стихах:
О рифме бесконечная забота
И за "идею" постоянный страх
Вас прошибают до седьмого пота,
А в результате часто - полный крах.
Не потому ль писаки-ветераны
Не создают подобные романы?

2

А я - литературный новичок,
И выгляжу, конечно, не мастито.
Забыв о том, что должен знать сверчок
Свой уголок, свинья - свое корыто,
Поймать пытаюсь славу на крючок
И конкурентом делаюсь открыто
Для тех, кто поэтический свой дар
Меняет лишь на *крупный* гонорар.

3

Им посвящаю я свое творенье,
Им отдаю себя на правый суд,
Что *правым* быть не может, без сомненья:
Быть справедливым - слишком тяжкий труд,
А от труда отвыкли, к сожаленью,
Те, что себя поэтами зовут.
Хотя откроешь томик их любой -
И в нем описан подвиг *трудо*вой.

4

Чтоб сразу же привлечь к себе вниманье,
 Я написать "роман в стихах" решил.
 Не модно это, знаю, и заранее
 Мне самому питомец мой не мил.
 Одно могу сказать я в оправданье,
 Что я благим намереньям служил.
 А если против моды я грешу,
 То... реабилитации прошу.

5

Как видите, я знаю это слово,
 Что нынче повторяют все кругом.
 Читатель! Не суди меня сурово,
 Чтоб реабилитировать потом.
 История за нас решить готова
 Любое дело праведным судом.
 Приходит, правда, поздно он всегда,
 Но поздно лучше все ж, чем никогда.

6

Итак, вперед мое повествованье!
 С чего, однако, мне его начать?..
 Ба!.. Как с чего?.. Конечно, с описанья.
 Я должен *экспозицию* создать,
 Затем к герою проявить вниманье,
 Потом интригу ловко завязать...
 Ну и тогда вести уже роман.
 Итак, я начал...

Вечер...

Ресторан.

ГЛАВА 1.

1

Топтались в томном танго пары,
 Метался взгляд влюбленных глаз.
 Вздохнув, гавайские гитары
 Петь начинали в сотый раз.
 Гитары грустно-нежно пели,
 А за столами пили, ели.
 Весьма почтенный гражданин
 Бил об пол водочный графин.
 Блестели лбы, блистали шутки,
 Сверкал огнями шумный зал.
 Смеялись пьяно проститутки,
 Качаясь в отсветах зеркал.
 Швейцар в дверях, в роскошной форме,
 И тот, как говорят, был в норме.

2

В угаре пошло-ресторанном,
 В толпе шумливой и пустой
 Казался неуместно странным
 Романа моего герой.
 Он был красив; таким бывает
 Тот, кто до времени не знает
 О власти чистой красоты
 Над миром, где ее черты
 Бывают явлены украдкой,
 Даря с потусторонним связь,
 Чтоб некой сфинксовой загадкой
 Преобразясь и отразясь,
 Как в зеркале, в лице судьбы,
 Твердить: мы все — ее рабы.

3

Сидя за столиком, забытым
 Закусок всяческих горой.
 Вином, уже почти распитым,
 Почти исчерпанной икрой,
 Он был хмелен. Глаза большие
 Мерцали пьяно и светло,
 И просветляли, голубые,
 Его лицо — ах, нет, *чело!* —
 Да, да, *чело!*.. "Высоким стилем"
 Украсить должно нашу быль.
 Сюжетных перепутий пыль
 Иначе мы едва ль осилим.
 Сюжет в романе — пыль и мрак,
 А стиль — огонь, костер, маяк!

4

Я сразу выдал формалиста
 В себе, дав это резюме.
 Но в том ли горе, чтоб игристо
 Писать? — Нет, горе лишь в "уме"...
 Разбив пороки и недуги,
 Препятствия, пороги, плуги
 Стеснительных иль глупых форм,
 Лишь ум дает фантазий корм
 Мечте — опасной, тайной, явной,
 Всесоздающей пьедестал
 Для книги, самой нужной, "главной",
 Которую бы написал
 Не знаю, кто... Но этот "Некто"
 Был бы героем Интеллекта.

5

Я не таков, я не таковский,
 И мой каприз — писать не так,

Как хамоватый Маяковский,
Как непонятный Пастернак.
Прием испытанный и свинский:
Кормить волков, блюдя овец,
Писать *à la* Илья Сельвинский,
Как Евтушенко, наконец,
Мне чужд. Мне чужды вождельня
И обреченные стремленья
В стихах своих соединить
И прошлого живую нить,
И модернизма достиженья...
Ну и тем паче не под стать
В соцреализме почивать.

6

Нет, по старинке, по привычке
Днесь поведу я свой роман...
Отдаст сюжетные отмычки
Мне байроновский "Дон Жуан".
Мое перо всегда готово
Фривольность взять... хоть у Баркова.
Из классиков составив штаб,
Сняв мерку в дантовский масштаб,
Я утону в поэзонеге,
И, дух традиций полоня,
Конечно, пушкинский "Онегин"
Войдет, как "дух святой", в меня.
Я знаю: в ритме наших дней
Необходим коктейль идей.

7

Он подбодрит и потревожит,
Он усыпит... но и — взорвет;
Подскажет — гоже иль не гоже
И даже гаже назовет.
Он правду-матку в кость изложет,
Кость лжи червем источит в нить...
Он даже Кочетова сможет
Писать прилично научить.
Вот почему незаменима
Идей затейливая смесь
В поэзии, где высь и весь
Есть просто посох пилигрима,
Твердящего в пути порой:
"Ничто не ново под луной".

8

Воистину, ничто не ново,
Но вечно жив один искус:
Сказать неведомое слово
И подразнить вниманье Муз.

И разве плохо, если в этой
Игре, как будто эстафетой,
Передается нам из рук
Минувшего традиций круг?
Так солнце на пейзаж столетий
Равно свое сиянье льет,
И бесконечно в горнем свете
Цветок Новалиса цветет.
И скрыт в любом саду Эдем,
А в рядовом фантасте — Лем.

9

Не зря, пожалуй, про фантаста
Внезапно я заговорил.
Воображенья очень часто
Недостает нам. Массу сил
Мы тратим, чтоб найти "реальный"
Подход, а век наш эпохальный
Втеснить в обыденную быль.
Но в дилижанс — автомобиль
Не переделать. И эпоха
Столь фантастична, так смела,
Что (хорошо оно иль плохо)
Эпоха требует орла.
Но где орлов сегодня взять? —
"Орлята учатся летать".

10

Во всяком случае, поется
Так в энной песне наших дней,
И ожидать нам остается,
Чтобы "ученье" шло быстрее.
Пока же я дерзаю в стиле
Великих бардов. Их пример
Есть метроном моих усилий
И мера вдохновенных вер.
Их идеал — моя программа.
И если эпос возродить
Удастся, — не фантастом, — прямо
Волшебником в стихах прослыть
Смогу я, сливши быт и бред
В логичный и простой сюжет.

11

О мой сюжет! Сколь благодатен
Его раздумно-плавный ход!
Меж философских рытвин, вмятин
Всех рассуждений, он течет,
Как ручеек в уступах горных,
Весь в завитушках волн задорных,
Весь — мысль, задумчивость, порыв,

Прямая линия, извив,
Весь углубленность. Но — не скрою —
Хоть углубленности я рад,
Однако мне милей стократ
Моя привязанность к герою.
Коль мой читатель не забыл,
Он очень юн и очень мил.

12

Встречаются такие лица,
Что покоряют вмиг сердца.
Тут можно и навек влюбиться,
И любоваться без конца.
Сквозит в них легкое мечтанье;
Им ласку и очарованье
Дарят точеные черты
Победоносной красоты.
И с той красой, почти волшебной,
Необходимо сопряжен
Незримый, для души целебный,
Глубинной нежности закон.
Нельзя представить, чтоб судьбой
Дух был расторгнут с Красотой.

13

Не может быть, чтоб Божье Слово
Безверья поглотила мгла.
Чтоб, скажем, заповедь Христова
Вдруг стала проповедью зла.
Пускай в истории бывало
Примеров подлости немало,
Но есть же в ней и "Божий Град",
И миги радостных расплат.
И, главное, в ней есть горенье
И вера в торжество того,
Что можно стать не просто тенью,
А тенью Бога самого.
Но тут ассоциаций строй
Меня уводит за собой...

14

Булгаков, иронично-милый,
Певец глубинной чистоты!
С какой божественною силой
Воспел Божественное ты!
Прекрасно-мрачен гордый Воланд,
Летающий в небе на коне,
Как символ безысходной воли,
Подвластной только Сатане.
Он скачет... Плащ вздымает ветер,
И звезды, ангельски звеня,
Лучами брызжут в грустный вечер

Из-под копыт его коня.
А даль загадочно-проста,
Вселенно чувствуя Христа.

15

И ОН идет... Узорной тропкой
Меж туч, как будто между скал.
Его лица святой овал
Озвездил взгляд глубинно-кроткий.
Он знает: жизнь не убережь,
Не зря зло прячется в порфире.
Он говорит: "Не мир, но меч",
И молит Господа о мире.
Мольбой и сердцем громогласен,
Века и Миг соединив,
Как Божий Сын – он так прекрасен!
Как Человек – он так красив!
И в ореоле золотом
Мир осеняется Христом.

16

Я вижу: дело не простое –
Не отвлекаясь, продолжать
Повествованье о герое,
Которому пора предстать,
Как говорится, в полной мере...
Но отступленья – не потери
В поэме, где победный туш
Манерой "Треугольных груш"
Исторгнут может быть... – Ей Богу!
Я вспоминаю о других
Поэтах, что не слишком строго
Вели сюжетно-строгий стих.
Лиричных отступлений грех
Частенько нам дарит успех.

17

Однако хватит отступлений,
Во всяком случае... *пока!*
Строфу нелегких вдохновений
Торопит легкая рука.
Герой мой хоть и не обычен,
Но в то же время и типичен. –
В том *диалектика*... Роман
Недаром назван – "Дон Жуан".
Названьем я не просто глянец
Литературности даю
Хуану... Родом он – испанец,
Однако родину свою
Обрел он в той большой стране,
Что так знакома вам и мне.

18

Хуан родился в год кровавый
И страшный... Котловина дней
Дымила раскаленной лавой
Чем далее, тем все сильней.
Шли "юнкеры" в небесной сини,
Шли легионы Муссолини,
Шли марокканцы в пыльной мгле
По окровавленной земле.
Испания рвалась, стонала
На перепутьях всех дорог
Под злобным скрежетом металла
И жимом кованых сапог.
Крутилось смерти колесо
Для Герники, для Пикассо.

19

Мятеж... Война... Раскол... Измена...
Все это третий год подряд,
Пока продажные сирены
О "невмешательстве" твердят.
Мадридцы делят хлеб на граммы,
Шлет коммунистам телеграммы
Далекий Кремль... И тут же шлет
За парходом парход
С оружием... Но к чему оружие?..
Республиканский горизонт
Сужается... "Народный фронт"
Размыт парламентским недугом,
Где каждый был весьма речист —
Что анархист, что коммунист.

20

Все речи, речи... Где же мера
Речам? Кем смыт парадный грим?
Уходит Ларго Кабальеро,
Капитулирует Негрин.
Крепка франкистская осада.
Уже созрел мятеж Касадо,
Уж коммунисты здесь и там
Упрятаны по лагерям.
Вот штурм победного трофея!..
Войны финальный абордаж...
Скрипит перо Хемингуэя;
Рожая новый репортаж.
Гудит, как колокол, Мадрид,
По ком тот колокол звонит?

21

А он звонит по очень многим,
Об очень многом говоря.

О том, что спутаны дороги
И что потушена заря.
О том, что годы испытаний,
Разрывов, тягостных страданий,
Кочуют на крутом пути,
Что не пройти, не обойти.
Пока Испания на ладан
Дышала, веруя в Москву,
Москва предстала миру адом,
Реально сущим на яву.
Свершил свой мрачный оборот
Тридцать седьмой кровавый год.

22

Ежова, Берию, Ягоду
Забуть едва ли суждено.
Но, право, не они погоду
Сумели сделать...Все равно,
Кто был палач и исполнитель. –
Виновней *Он* – их вдохновитель,
Он, "самый мудрый на земле",
Он, маленький грузин в Кремле.
Обер-палач в кровавой драме,
Где миллионы полегли,
Он лишь пошевелинул усами,
И стон исторгся из земли.
Убийца, Идол и Палач!
Что для него тот стон и плач?!

23

Отец Хуана – правоверный
И очень старый коммунист,
Давно работал в Коминтерне,
Анкетно быв предельно чист.
Одно, пожалуй, лишь смущало:
Генеалогия...Ведь мало
Того, что был он из дворян,
Но из каких!..Дон Хулиан
Маранья был аристократом
Древнейших "голубых кровей".
Имел на поле полосатом
Их герб перчатку королей.
Но сам Маранья, между прочим,
Считал себя...простым рабочим.

24

Что ж, все быть может. Даже лестно,
Что гордый пролетариат
Фамилиям весьма известным
Радешеньки бывает рад.
Ведь даже Энгельс был марксистом,

Но и — увы! — капиталистом.
И как усердно помогал
Писать он другу "Капитал",
Известно всем... Не будь монеты
У Энгельса... И — видит Бог! —
Не смог бы Маркс закончить в срок
Труд, богоданный для планеты.
(Его тома для нас — презенты,
А Сталин дал нам с них "проценты").

25

"Все поровну, все справедливо",
Как Окуджава раз сказал...
Кто хочет сделать мир "счастливым",
Тем самым *сделав* "капитал";
Кто хочет, кровь лия, как воду,
Кадить великому народу,
Его же растирая в прах
В колхозах и концлагерях.
Кто хочет веровать в "идею",
Хотя она давно мертва,
И даже сунув в петлю шею,
Кричать, что Партия права.
Вот так и держится в веках
История на дураках.

26

Марастья был тем чистым, честным
Идеалистом, чей удел
Обычен: сделаться известным
И вдруг — остаться не у дел.
Средь ломки и партийной бури
Он рядом шел и с Ибаррури,
И с Диасом, вводя в закон
"Единства" принцип... Он "уклон"
Громил любой: сначала "левый",
Потом, конечно, "правый" тож...
Потом "центристский", "черный", "белый",
Потом...какой и не поймешь!
Тверда была его рука,
Всегда ведомая Цека.

27

Но где-то в тайных кабинетах
Росло туманное досье,
Где значилось, что в юных летах
Марастья дружен был с *monsieur*
Леоном Блюмом. Эта близость
Есть политическая низость
Для коммуниста. А к тому ж
Кто-то из немцев (Киш или Буш —

Из подозрительных!) с ним пели
На свадьбе, где был...Бела Кун.
(Там явно *фракцию* пригрели
И *заговора* зрел канун).
Да и вообще видна здесь лапа
И сигуранцы, и гестапо.

28

Ну и еще соображение
Довольно важное...Ведь он
Ведет свое происхождение
С таких ужаснейших времен!
Маранья!..Это же из рода
Того исчадия природы,
Который звался Дон Хуан
(Иль Дон Жуан – тут важен сан,
А не *легенды* и личины...
В них разберутся в свой черед,
Когда для полноты картины
Лубянка следствие начнет.)
Одно неясно до сих пор:
Был ли троцкистом "Командор"?

29

Ну ничего, сеньор Маранья
Тогда расскажет все сполна,
Когда в одном уютном зданье
Докажется его вина.
Пока же пусть себе резвится,
Работает и суетится;
Авось, в своей работе лих,
Потянет он с собой других
Врагов, еще не дораскрытых –
Ведь их же тьма!..Они кругом
Кишат, хоть их немало сбито
Энкаведистским сапогом.
Но вновь плодятся, как грибы,
Подонки классовой борьбы.

30

Меж тем, сам Хулиан Маранья,
Замотанный текучкой дней.
Жил в Ленинграде, в ожиданье
Прибытия семьи своей.
Он знал: в Валенсии далекой
Жена, Мария, раньше срока

Ему сынишку родила.
(Но он не знал, что умерла
После родов его супруга,
Что с помощью большого друга
Лишь сын на пароход был взят
В сопровожденьи специальной
Кормилицы). – Исход печальный
Был телеграммой сообщен...
Бланк телеграфный...Скорбь...И стон...

31

Да, стон. Стесненные рыдания
В гостинице, где вспоминал
Сквозь слезы Хулиан Маранья
Ту, что любил и обнимал
Он так недавно...Дорогие
Черты лица ее, Марии.
Ее глаза, ее уста,
Ее улыбка, красота
И нежность – все пред ним мелькнуло
Вспоминаньем золотым...
И знать, что смерть перечеркнула
Всех этих грез миражный дым!..
Знать, что разлука не в года,
А на века, а навсегда!..

32

Знать это страшно...И, однако,
Все люди смертны. Жизнь – игра,
Где "Некто в сером" вроде знака
Нам делает порой: – Пора!
Пора – как это и ни жалко –
Идти на бойню иль на свалку,
Пора узнать, кто *предположит*,
А кто всему *предел положит*.
Маранья был атеистично
Настроен, но и он не мог
Не думать, что, быть может, Бог
В его судьбу вмешался лично.
Но ведь и Божьей волей дан
Ему в награду сын – Хуан.

33

А если так, то он, Маранья,
Отцовски-твердо должен дать
Родному сыну воспитанье

Возможно лучшее, чем мать
Смогла бы обеспечить...Сразу
Весь блат, все связи до отказа
Маранья мобилизовал,
Все исходил, все разузнал,
Всего добился...(Славы отблеск
Еще светился на челе!)
И был его устроен отпрыск
В спецясли чуть ли не в Кремле.
Так начал счет своих годин
Хуан — советский гражданин.

34

Он начал, а папаша кончил.
(Ведь все пути приводят в Рим).
Маранья жил на даче в Сочи,
Когда приехали за ним —
Забрать в тот дом — красивый даже,
Куда однажды напрямиком
Я, грешный, сам под строгой стражей
Был точно так препровожден.
Все повторяется...Но только
Я вот сейчас роман пишу,
Волнуюсь, гневаюсь, дышу,
Живу, хотя не очень стойко,
Но все ж живу...А ведь других
Давно на свете нет в живых!

35

Хуан жил жизнью самой райской
В яслях, когда его отец —
"Агент разведки парагвайской,
Английской, шведской, португальской",
Разоблачен был наконец.
Из князя — в грязь...Не будет хода
Хуану...Сын "врага народа",
Он не умел еще ходить,
Но, вероятно, мог вредить...
Кому и как?..Кого смущала
В то время логика в делах,
Где разум значил очень мало,
И очень много значил страх?
Страх жил во всем, всегда, везде
Бряцаньем слов — "НКВД".

Простая аббревиатура,
 А что скрывается за ней?
 С кого-то "спущенная шкура",
 И стон замученных людей.
 Там клещи рук, в крови по локти,
 Здесь иглы, загнанные в ногти.
 Там наркоматский макромир,
 А здесь – расстрелянный Якир.
 В "Крестах" распятая идея,
 В Лубянке и Бутырке бред...
 Все – адский круг; все – лотерея,
 И приговор – ее билет.
 (Как смог заметить Эренбург,
 Здесь Случай – вещий Демиург).

А между тем Европы раны
 Кровоточили... "Мюнхен" – кость,
 Которую политикам
 Подкинуть Гитлеру пришлось.
 Он проглотил... Удобный случай!
 А мы-то, мы-то разве лучше?..
 И разве не позорный факт –
 Печально-знаменитый пакт?
 Фон Риббентроп в Москве... Плебейский
 Он все же тип, хотя и "фон".
 А рядом Молотов – с лакейской
 Улыбкой "фону" в унисон.
 И договор, как приговор,
 Над миром заносил топор.

Потом историки докажут
 (Им платят за подобный "труд"!),
 Что пакт дал "передышку"... Скажут,
 Что это был оплот, редут
 Против агрессии внезапной...
 Что ж! В этом есть резон, понятный,
 Если учесть, как вкривь и вкось
 Историю толкуют... "Ось
 Берлин – Рим – Токио" прикрылась
 Коммунистической Москвой;
 Планета словно затаилась
 Перед грядущей, мировой...
 Приблизился урочный час

В аккордах "заявлений ТАСС".

39

Уж Сталин с Гитлером клыками
Рванули Польшу на куски,
Уже катынскими лесами
Прошли плененные полки.
Война катилась ураганно,
Хотя бы называлась "странной"
В иных учебниках она...
Увы! Война всегда война.
Всегда в ней кровь должна пролиться
И возликует смерть стократ,
И будет награжден убийца,
А убиенный виноват.
А радио, газеты – сплошь
Шовинистическая ложь.

40

Хуан, конечно же, не ведал
Про надвигающийся шквал.
Он рос, в своих колготках бегал,
Смеялся, плакал и играл.
Под рев: "банзай!" "Sieg heil!" "Ура!"
Он издавал свое "уа".
В три года Хуанито взят
Был в ленинградский детский сад.
Там воспитание давалось
В обычном стиле *soviétique*.
Все в лоб: "идеи" – напрямик,
Культура ж так, в обход и малость...
Нам всем, прошедшим тот же путь,
Культурой мудрено блеснуть.

41

Реминисценцию незольно
Я из "Онэгина" извлек.
Но разве не ударит больно
В сознание мой самоупрек?
Мы в самом деле, *понежну*,
Как говорится, "всю дорогу"
Учились... Нам то Пролеткульт
Мешал, а то и просто "Культ".
И все вполне элементарной
Причиной можно объяснить:
Нельзя культуру возлюбить,

Любя режим тоталитарный.
Нельзя соединить в одно
Что в сути разъединено.

42

Наш Хуанито, как в окошко,
Смотрел на мир, смышлен, хоть мал.
Учил он русский понемножку,
Испанского ж вообще не знал.
Он был красивый мальчик. Эта
Фамильная его примета
Должна была ему помочь
И помогла. Он превозмочь
Смог много бед, не сознавая,
Каким он даром обладал:
Разлет бровей и губ коралл,
Чудесный личика овал
И взгляда нежность голубая —
Все это было, как оплот,
От бед и всяческих невзгод.

43

Бывало, напроказит даже
Хуан, — и надо б наказать, —
И воспитательница скажет,
Что в пору бы и порку дать.
Но вдруг на мальчугана взглянет,
И сразу: злая — доброй станет.
Ну как не сжалиться над ним,
Когда красавчик-херувим
Смиренно молит о прощеньи?
И так прелестен вид его,
Что здесь возможно снисхожденье,
Любовь — и больше ничего.
Перед красой не устоит
Ни злость, ни горечь всех обид.

44

И все же забывать не надо,
Что — как ни тешься красотой —
Хуан был детищем детсада,
А значит, просто сиротой.
А сколько в ней, в сиротской доле,
Таится и тоски, и боли.
Неизнедряющихся слез,
Нерасторгаемых угроз.
Угроз для духа и для тела,

Предвестий будней и обид,
От коих столько душ сгорело
И сколько душ еще сгорит!
Голгофа самых горьких дел
Есть одиночества удел.

45

Когда царил над Ленинградом
Блохадный голод-нетопырь,
Хуан был вместе с детским садом
Эвакуирован в Сибирь.
Он смутно помнил эшелоны,
Леса, шербатых сопок склоны.
Высокой церкви силуэт,
Дистрофный сон, тифозный бред...
Каким-то чудом отходили
Его в больнице. А потом
На спецдиете подкормили
И переправили в детдом.
Там, набираясь новых сил,
Он свой характер закалил.

46

Хуан был не драчлив, однако,
Как истый маленький герой,
Уж если ввязывался в драку,
Давал он настоящий бой.
Не уступал другим он в силе;
И потому его любили;
Не хитр неписанный устав
Мальчишек: победитель прав.
А впрочем, только ли мальчишки
Так рассуждают?.. — Погляди
На мира грешного делишки,
Где сильный вечно впереди,
Где сильный может выбрать путь,
Лишь наступив на чью-то грудь.

47

О, “*Ave Caesar imperator!*”
Звучит веками вновь и вновь
Все тот же возглас...Гладиатор
Льет на песке арены кровь.
Толпа кричит и рукоплещет,
Как и в былом. А голос вещий
Ей кажется уделом тех,

Кому сопутствует успех.
Успех в коварстве или мести
Того, кто свой народ взнуздал,
Распял, растлил...Все это вместе
И образует пьедестал
Для славы всяких "каудильо",
Которых в мире — изобилье.

48

Хуан, в котором дух отваги
Заложен генами отцов,
Не раз бывал вождем ватаги
У разудалых сорванцов,
Участвуя порой в проделках
Довольно смелых; в переделках,
Где и умом и кулаком
Он утверждался вожаком.
Я не скажу, что дух "вождизма"
Ему был искони присущ,
Но так же вот из школьных куш
В жизнь вышли лидеры фашизма
Иль коммунизма...Черт возьми,
Ведь были и они детьми!

49

Шикльгрубер малевал картинки,
А Джугашвили пел псалмы...
Средь сублимированной тьмы
Плели инстинкты паутинки
Грядущих граней их карьер
И профетических химер,
Где Сталин был духовным "отче",
А Гитлер — бункеровским "зодчим";
Где каждый, кажется, достиг
Не только славы и признанья,
Но и того, что словно блик,
Порою в детстве лишь на миг
Мелькало в ритмах подсознанья...
Но тех подспудных ритмов рейд
Не прояснил бы даже Фрейд.

50

Конечно, отрочества фаза
Важней других житейских фаз.
По ходу нашего рассказа
Мы остановимся сейчас
На утверждении, что Хуана

Ждет будущее Дон Жуана.
Сам не герой, не вождь, не "rex",
Он — подданный державы "Секс".
Лишь сексу будет он подвластен,
И — женщин царственный кумир —
Любим и перманентно страстен,
В любви создаст свой микромир...
Но — *Dixi!* . . . Здесь, читатель мой,
Прощусь я с первою главой.

Глава 2.

1

Пора суровая, святая,
Ожесточенная пора!..
Начнись же ты, глава вторая,
Кровавым росчерком пера.
Восколыхни людскую память,
Заставив прядать или падать
Ее раскатом слез — волны —
Воспоминанием войны.
О грозной памяти вельня!
Как пламя вечного огня,
Ты зажигаешь вдохновенье,
Которое сожжет меня.
Но как поэт, как человек,
Я пламя то храню навек.

2

И это не слова пустые,
Глубокий смысл таится в них.
Россия! Бедная Россия!
В тебя — гранатую — мой стих!
Тебя поэты зблевали
Своей лирической слюной,
Воспели реки, рощи, дали
И величавый твой покой.
И спит Россия сладко-сладко,
Веками длится сон-угар...
Так получи в лицо перчатку!
Прими пощечину-удар!..

Хоть больно проклинать, любя,
Иронизировать, скорбя!

3

Родной истории преданья
Нам, грешным, только и несут,
Что испытанья и страданья,
Распяты, цепи или кнут.
Пожалуй, со времен Батыя
Ты на распутье спишь, Россия.
И, богатырский сняв шолом,
Лежишь, придавлена крестом.
Нелегко этот крест кровавый:
Грозой и бурей иссечен,
Он, даже осененный славой,
На обесславы обречен.
Свобода – слово дорогое
Для всех; тебе оно – чужое.

4

А если так, то много ль стоит
Весь этот бутафорский хлам,
Что от Сусанина до Зои
Позолотил пилюлю нам?
Патриотическая шея
Народа – вечного лакея,
Зажата в крепкие тиски
Самодержавных руки.
От места Лобного – к Лубянке,
Из Шлиссельбурга – в Колыму...
Судьба расейская – в изнанке
Влечется только к одному:
Быть перекатною сумой
И бесконечною тюрьмой.

5

Недаром говорят: "Не верит
Москва слезам." И где уж ей
Людские исчислять потери,
Возросшей на костях людей?
Сказал однажды с болью резкой
Взлалкавший счастья Достоевский,
Что нету счастья для него
Ценой слезинки одного
Ребенка...Истина святая!..
Но как ее нам подтвердить,
Когда история родная
В диапазоне: "бить – не бить?"
Решает Гамлета вопрос
Ценок миллионных слез.

6

Когда ж бесчувственные лица
 Вдруг заклеят позора знак,
 Когда восстанет Солженицын,
 Вознегодует Пастернак,
 Когда Твардовский в "Новом мире"
 Посмотрит чуточку пошире,
 Поглубже в *истинную* "даль",
 Сменив мажорность на печаль,
 Тогда наемные клеветы
 О "клевете" начнут кричать,
 И подцензурная печать
 Единодушно те "клеветы"
 Осудит... Хлопнувши притом
 "Патриотическим кнудом".

7

Ах, этот кнут патриотизма!
 Кто только бит им не бывал?
 Какую ересь или схизму
 Он, щедрый, не искоренял?
 От котошихиновской книги,
 Сквозь декабристские вериги,
 Сквозь "пломбированный вагон",
 Кто им не взнуздан, не клеймен?
 Не посечен им за "измены",
 За то, что кто-то смог сказать
 Простое "Не могу молчать",
 Иль перед смертью взрезать вены,
 Или сбежать в конце концов,
 Как Анатолий Кузнецов?

8

Любовью к Родине пылая,
 Нельзя себя в ней растворять.
 Оно, конечно, мать родная —
 Всегда, во всем *родная* мать.
 Но даже матери, бывает,
 Сын справедливый не прощает
 Вины чрезмерной. И она
 Бывает им осуждена.
 Вот почему без ностальгии
 Спекулятивной можно жить
 Вдали от матушки-России
 И продолжать ее любить.
 Хотя здесь ненависть в свой срок
 Приходит как любви залог.

9

Я не швыряюсь парадоксом,
 Желая хлестко шегольнуть

Тем, как способен я свернуть
И вывернуть в софизме броском
Политику. Не в этом дело.
Но, соглашусь, довольно смело
Хочу я защитить людей,
Покорных совести своей,
А тирании не покорных.
Уйдя в изгнание, они
Порой влачат в несчастье дни,
Но нет меж ними *дней позорных*.
А если родину клеймят
Они? – Кто в этом виноват?

10

Средь бурь и шквалов нашей жизни,
Где гневно океанит кровь,
Ужель одна любовь к отчизне
Есть настоящая любовь?
А человечество? Свобода?
А право, честь и дух народа?
Или вконец погребены,
Забыты, стали не нужны,
Как "устаревшие понятия",
Все эти вещи?.. Если так
Мы думаем, – позорный мрак
Пал нам на души, как проклятье.
Но пусть клубится тьма окрест –
Звездой пылаёт бунт, протест!

11

Я тех сегодня славлю гордо,
Кто делом, словом ли, – но бил.
В бюрократические морды,
Бил по рядам "кувшинных рыл",
Бил по преданиям и скуке,
По пресмыкательству и муке,
Бил в "Колокол", других будя,
Бичуя косность, ограда
Людей от идола пустого,
Которым любят козырнуть,
Превознося "Отчизну" – слово,
И позабыв "Отчизну" – суть.
Лишь бы "отеческим" грехам
Курить преступный фимиам.

12

Войны Отечественной годы
(Вне связи всех других годов)
Взвалили за грехи отцов
На плечи сыновей невзгоды.
За сталинистскую чуму

В крови, пожарищах, дыму,
Пришлось расплачиваться им,
Двадцатилетним, молодым.
Москву собою заслоняя
На предпоследнем рубеже,
Не зная, по какой меже
Пройдет истории кривая,
Они спасти ее смогли
И умерли, и полегли.

13

О если б это смерть была
За настоящую свободу!
Тогда бы юные тела
Воздвигли пьедестал народу,
А не тирану-исполину,
Садисту, хитрому грузину,
Который, даром что не прост,
Поздней *за русских* поднял тост
С наивностью великоросса,
Решившего простым путем
Перипетии нацвопроса
Сложнейшего. И где штыком,
Где демагогией, — смиряя
Тебя во всем, страна родная.

14

Но, впрочем, здесь должна закрыться
Политико-философем
Публицистичная страница...
Не исчерпать нам этих тем
В один наезд. К тому ж героя
Мы вывели давно из строя
Сюжетных описаний. В них
Героем стал свободный стих.
И, право, слишком уж *свободно*
Он полился — и вкривь, и вкось...
Читатель! Думай, что угодно,
Но как бы ехать не пришлось
Нам в "отдаленные края"...
Обширна Родина моя!

15

Давайте же Хуана снова
На сцену выведем, а там
Пусть будет то, что будет... Слово
Свободное я не предаю,
Как ни писал бы... Но сюжета
Должна почувствоваться мета
В романе — посему герой
Опять возник передо мной:
Детдомовец, мальчишка бойкий,

Испанец, юный сибиряк,
Он выносил довольно стойко
Удары жизни. Как ни как,
Но был аристократом он,
И этим, видно, закален.

16

Во всяком случае, закалки
В нем было много. И порой
В буквальном смысле из-под палки
Он выходил, — пусть чуть живой,
Но гордый. Не пролив слезинки,
Хотя в лице и ни кровинки,
Хотя — что сердцем испытал —
Об этом знать никто не знал.
И плакать доводилось только
Во сне ему, когда впотьмах
Холодный, непонятный страх
Сжимал мальчонку. Плакал горько
Хуан о чем-то о своем,
Что лишь подспудно жило в нем.

17

Судьба семьи была известна
Хуану. Рано он узнал
То, что отец его жил честно,
Но от руки бесчестной пал.
Ему сказали, что "ошибка"
Случилась. А Хуан не шибко
Сообразить мог, кто таков
Был этот тип — "нарком Ежов".
Зато усвоилось: ни мамы,
Ни папы он не будет знать,
И что с детдома начинать
Придется путь житейской драмы.
(Он слова "драма" не слышал,
Но "драматичность" понимал).

18

Меж тем над сводами Рейхстага
Средь потрясенной тишины
Взметнулся красный росчерк флага
В знак окончания войны.
В знак наступленья новой эры,
В знак примирения и веры
Послевоенный небосклон
Вдруг озарило: "мир", "ООН".
А у трибуны Мавзолея,
Где Сталин созерцал парад,
Бросаемы за рядом ряд;
Лежали свастики, чернея,

Как символ свергнутых божеств
И наступающих торжеств.

19

Тогда казался Сталин богом,
На благо снизошедшим в мир,
Войны прекраснейшим итогом
Вновь увенчавшим свой кумир
В глазах народа. Кто из нас
Тогда мог знать, что в грозный час
Начала бед неисчислимых,
Последствий неисповедимых,
В июньский месяц роковой
В год катастроф и потрясений,
Куда как жалок был наш "гений"?
Куда как скромн наш "герой"?
Но здесь важней легенды нить,
А Сталин *мог* ее творить.

20

Воображения излишек
Всегда Хуана отличал.
В политике соображал
Он больше всех других мальчишек
Дет домовских. Но был влюблен
(Как и они, конечно) он
В портрет усатый на стене,
Который мысли о войне
Будил всегда; войне опасной,
Закончившейся, как ни жаль,
Но интригующе-прекрасной
И за собой манящей в даль,
Где были подвиги, облавы,
Засады, штурмы, вихри славы.

21

Хуан среди ватаги пестрой
Восторженно играл в войну.
На деревянных саблях острый
Бой разгорался...И волну
Атаки "наших" вел Хуан,
Как заправила-атаман.
"Сдавайся!" "Бей!" "За мной, ребята!" —
И устремлялись пацанята
В свой первый, шуточный пока,
Бой, где получишь разве шишку,
Или синяк. Зато мальчишку
Он закалит наверняка,

Придав душе его настрой,
Чтоб после встретить *жизни бой*.

22

Недалеко от их детдома
Стояла церковь. (Метрах в стах).
Казалось, вековая дрема
Дышала в древних куполах.
А рядом кладбище лежало,
Как шашечное покрывало,
С квадратами своих холмов
И растопыренных крестов.
Ходили слухи, что бывает
Нечисто там. И ночью звон
Какой-то слышится, и стон,
И гул, и кто-то там рыдает.
Все это вызывало страх,
Но не в мальчишеских сердцах.

23

Хуан однажды, с другом споря,
Решил ребятам доказать,
Что сможет ночью побывать
В полуразрушенном соборе.
И вот настала ночь... Тайком
Они собрались вчетвером
(Свидетелями трое были),
Дверь спальни тихо приоткрыли —
И вышли... В небе смутный серп
Блестел зловещим ятаганом
Над миром, маленьким Хуаном,
Над ветвями берез и верб.
Он освещал мальчишек путь,
Неволью навевая жуть.

24

У церкви трое отделились,
А наш Хуан вперед пошел;
Дверь застонала, скрипнул пол
(Он деревянным был). Раскрылись
Пред ним при отблесках луны,
В окошки бившей, две стены
В иконах, росписях и фресках,
В каких-то странных арабесках.
Ему казалось, будто он
Захвачен тайною щемящей
И в сновиденье погружен...
И сам-то он — не настоящий,
Не человек, а тень его,
Без имени, без ничего.

25

И вдруг — в углу какой-то шепот...
Шаги...Все ближе...Недвижим,
Застыл Хуан...И перед ним
Старик предстал, как некий робот.
Огромный сумрачный старик,
Он надвигался...Еле крик
Сдержал Хуан. Прикосновенье
Он ощутил к себе. В мгновенье
Рванулся он от старика.
Но — поздно. Мальчика держала
И руки детские сжимала
Его костлявая рука...
Затем Хуана отпустил
Старик. И с ним заговорил.

26

-Чей, хлопче, будешь? — Я оттуда, —
Хуан, дрожа, пролепетал. —
Я из детдома. — Вот так чудо!
Ты шустр, пострел, хотя и мал.
Чего тебя здесь черти носят?..
Ну, ну, не бойся...Если спросят,
Видал ли здесь кого? — молчок!
Иначе вздерну на крючок.
Ты понял? — Понял... — Вот и ладно.
И побожись перед Христом,
Что впредь вам будет неповадно
Сюда таскаться, в Божий дом... —
Тут вдруг зажег фонарик он,
И луч обшарил строй икон.

27

Одна из них изображала
Христа распятого. Из ран
Густыми струйками стекала
Кровь...В ужасе смотрел Хуан
На лик Спасителя прекрасный,
Впивая взор его всевластный
И благостный. Старик сказал:
"Крестись!" — Хуан не понимал.
Тогда старик его рукою
Водя, его перекрестил,
Затем фонарик погасил,
Пробормотав: "Христос с тобою.
Беги!" — И мальчик со всех ног
Бежал, пока бежать он мог.

28

Когда он лег в постель, явились
Его друзья, уставши ждать.

Но от Хуана, как ни бились, —
Ни слова. Продолжал молчать
Он и потом, хотя в деревне
Услышал говор: "Мол, наместни
Милиция в собор пришла
И дезертира там нашла."
Таков был слух. Но, без сомненья,
Неведомо, *кто* это был.
А сам Хуан не позабыл
Свое ночное приключение.
И с этих пор, пока он рос,
С его мечтой дружил Христос.

29

Что не мешало атеизму
Ему учиться. И Хуан
Узнал, согласно дарвинизму,
Что он — потомок обезьян.
Мы в атеизме через меру
Усердны. В наших душах веру
Искоренить и истребить
Легко. Труднее заменить
Ее иною верой, дав
Значенье жизни обескрылой,
Открыв ей жизненный устав,
Полезный и перед могилой.
Ведь — обезьяна или нет —
Нам важен дух, а не скелет.

30

Я в эволюции законы,
Конечно, верую, но ей
Доверишь ли мольбы и стоны
Не верящих в нее людей?
Молиться принципу? Идее?
Но *образ, миф* всегда сильнее.
Есть "*ratio*" — ему я друг;
Но есть эмоция, испуг,
Волнение, смутное желанье,
Которое не передать
На дефиниций испытанье,
А можно только ощущать,
Как ощущается сквозь твердь
Дней нашей жизни слово "смерть".

31

Я в прошлом много колобродил,
И мозг мой отдыха взалкал.
Я — интеллектуальный по природе,
Отнюдь не интеллектуал.
Служенье Разуму простое

И словоблудие пустое
Нам не заменят ни Мечты,
Ни Бытия, ни Красоты.
С какой ты ни смотри опаской
На этот мир, — прекрасен он
Лишь потому, что светлой сказкой
Он вознесен и утвержден.
Та сказка — стимул-чародей,
И Бог скрывается за ней.

32

Противоречия сознания,
Противоречья Бытия!
Жизнь — как испытанное страданье
В проклятом трио: Ты да Я,
Да Неизвестность... Эти трое
Суть наше бытие земное,
Средь диалектики коленц
Дарующее "Existenz".
А разум — что ж?.. Как по-махистски
"Идеалисты" говорят:
В своей рациональной чистке
Он — "ощущений" агрегат.
Хотя здесь Мах и маху дал
(Нам это Ленин доказал).

33

Я сам — не логик, не эмпирик,
Не критик, ни... *et cetera!*
Я просто скромный русский лирик,
Служитель своего пера.
И в философию кидаясь,
Как в темный омут окунаясь,
Я не ищу, как Архимед,
Опоры точку, вовсе нет.
Но все-таки нужна опора
Душе моей, и неспроста
Она смятенно ищет взора
Страдавшего за нас Христа.
Пусть так: "*quia absurdum est*",
Я — верю, и — несу свой крест.

34

Когда-то смелость в отрицаньи
Мы находили. И Богов
Ниспровергали для закланья,
Как и служивших им жрецов.
Теперь не то. Теперь смелее
Религиозная идея;
Теперь ее ученики —
Вот истые бунтовщики

Против машинного всевластья
В кибернетической глуши,
Против казарменного "счастья"
И удушения души.
И алогичностью своей
Спасает лишь она людей.

35

Меж тем Хуан в советской школе
Шел по прямой стезе наук.
Решал задачи поневоле,
К бурьяну прививал бамбук,
Ставши мичуринцем-юннатом;
Вникал в значение слова "атом";
Ну, а историю всех стран
Читал он просто, как роман.
И ясно, что Хуан Маранья
С особой нежностью твердил
То слово звучное – "*España*" -
"Испания", – которым был
Он сам отмечен от рожденья
По воле ген...и Провиденья.

36

Нередко, выйдя на дорогу,
И сопки обогнувши склон,
Смотрел задумчиво и строго
Хуан в сибирский небосклон.
И там, где горизонта кромку
Холмы прорезывали ломко,
Ему мерещились вдали
Холмы совсем другой земли.
Он знал их лишь по описаньям
Прочтенных книг, но как мотив,
Звучал в нем нежный звук – "*España*,"
Собой душу полонив.
И грезы призрачная ширь
Была реальней, чем Сибирь.

37

Мечты, мечты! В познания лоно
Он погружался, множа грусть...
Сервантеса и Кальдерона
Он знал кусками наизусть.
И упоительная нега
Блестящих строф Лопе де Вега
В нем *к сцене* развивала страсть
(Не дай нам Бог туда попасть!)
Он, как Вселенную Коперник,
Открыл, поэзией горя.
(Татьяну Щепкину-Куперник

За перевод благодаря).
Увы! Испания закуской
Была в его судьбине *русской*.

38

И, в общем, *русским* он скорее
С годами стал... Попробуй счесть:
В нем *кровь* иль *русский дух* сильнее,
Раз в нем и то, и это есть?
Он сделался метисом вроде –
Испанцем в русском переводе.
И, право, этот "перевод"
Все дальше был из года в год
От подлинника. Хуанито
Отлично это сознавал,
И часто сам именовал,
Полушутя, полусердито,
Себя "*метисским пареньком*"
И чуть ли не "*сибиряком*".

39

В учении он был прилежен,
Хотя не слишком-то зубрил
Уроки. Страстно не любил
Он математику; был нежен
С литературою, любя
Ее за то, что здесь в себя
Уйти легко; и погрузиться
В мир сверхреальный; раствориться
В нем, как песчинка в глубине
Морской и взорам не подвластной,
И упоительно-безгласной
В звенящей об утес волне...
Но стоп!.. По воле волн морских
Куда-то завернул мой стих.

40

Вернемся к Хуанито... Зрела
В нем чувственность уже давно.
Спорт развивал мальчишки тело,
А возраст то, что суждено
Развить природе... И загадкой
Такой мучительной и сладкой,
Созрев для жизни половой,
Хуан стал мучиться... Порой,
Мгновенно пробуждаясь ночью
И лихорадочно дыша,
Он видел женский лик воочью,
И трепетала в нем душа.
(Сказать точнее – *организм*,
Душа здесь – явный эвфемизм).

41

И, наконец, *оно* свершилось...
 Однажды ночью он лежал
 В постели. И не то дремал,
 Не то уснул уже...Забилось
 (Он сам не понял отчего)
 Внезапно сердце у него.
 С ним рядом кто-то лег несмело;
 Он ощутил чужое тело —
 Впервые — женское...Вздыхнул,
 Глаз не открыв, предчувствий полный...
 И вот уже запретный круг,
 Бросающий в истомы волны,
 Разомкнут силой женских рук,
 Которые его едва ли
 Не до рассвета обнимали.

42

Так перестал он быть невинным,
 Не пожалев о том ничуть,
 Вступив на Дон Жуана путь,
 Который будет очень длинным,
 Картинным очень. (Я о том
 Уже предупреждал мельком
 Тебя, читатель дорогой,
 Кончая с первой главой).
 А та, что избрала мальчонку
 В напарники ночных интриг,
 Что разорвала детства пленку,
 Как *пленку девственности*, — вмиг,
 В миг, хоть и краткий, но крылатый,
 Была лишь...пионервожатой.

43

О сколько в жизни женщин было!
 (Их горизонт необозрим).
 Какие яркие светила
 Чредой промчались перед ним,
 Перед Хуаном!..Всех артисток,
 Экрана звезд, всех аферисток,
 Всех гейш, секс-бомб и проституток,
 И министерш, и мини-юбок, —
 Он не запомнил. — Но в погоне
 За сексуальной тратой сил
 Мой Дон Жуан не позабыл
 О первой...белокурой Тоне,
 Не зря его *вожатой* бывшей
 И в "храм любви" его *вводившей*.

44

Но здесь как будто объяснение

С читателем мне предстоит.
Он, кажется, меня клеймит,
Исполнен гневного смятенья:
"Хорош герой! Хорош сюжет!
Сопляк четырнадцати лет
Выводится как идеал
За то, что с бабой переспал!
Сам автор — циник. Он порочно
Ему сочувствует вполне...
Ответьте коротко и точно:
На чьей вы, автор, стороне?"
Я отвечаю: Мой герой
Мне дорог — он недаром *мой!*

45

Но мне упреки слышать странно
За то, в чем я предельно чист:
Я *гедонист* — не моралист,
Но не считаю Дон Жуана
Я идеалом... Он собою
Хорош безумно. Красотою
Он в самом деле образец
Для женских взглядов и сердец.
Что ж тут поделывать?.. Божий свет
Провидят в Красоте поэты
И женщины, чья силуэты
А *la* Парис иль Ганимед.
(Последний Зевса восхитил
И лишь за то похищен был).

46

Кто же виновен: похититель
Или похищенный? Ответь
Ты, мой читатель и учитель, —
В какую надо было б клеть
Упрятать Красоту навечно,
Чтобы морально-безупречно
На свете серенько прожить
И без эстетики любить?
Я как эстет проголосую
За Красоту всегда, во всем!
Ну, а мораль хоть и взыскую,
Но это все-таки... потом.
И если *этику* нарушу,
Эстетика спасет мне душу.

47

Вот символ веры! И при этом
На прецеденты я сошлюсь;
От них легко я оттолкнусь,
Как и минувших дней поэты.

У Байрона его Жуан
В *шестнадцать* лет имел роман,
А мой — в *четыренадцать*... Но он
В ином столетии рожден.
И "Дон Жуан — двадцатый век",
К тому же Дон Жуан *советский*,
Куда смелей как человек,
Чем вертопрах какой-то светский.
(Естественно, что и повес
Усовершенствовал прогресс!)

48

К тому же мой Хуан был очень
(Коль к женщинам любовь — *порок!*)
В других аспектах *беспорочен*,
Давая мудрости урок
Не только сверстникам, но даже
И взрослым людям. Так, миража
Наркотиков он избежал;
Пить — пил, точнее, *выпивал*,
Однако в меру. И бесспорно,
Что если стоит похвалить
Характер стойкий, но не вздорный,
То с ним вполне спокойно жить
Смогла б *законная* жена
(Будь та жена ему нужна!..)

49

Таких достоинств изобилие
Я просто поневоле чту.
Ведь жизнь так часто рубит крылья
Естественности на лету.
В наш век эрзацев всевозможных,
Гипотез сумрачных и сложных,
В век ядерных грибов-колец,
В век пересаженных сердец,
Иметь отличное, простое,
Земное сердце — суждено
Не всем из нас. А если *вдвое*
Любвеобильнее оно,
То в этом, видно, естество
Вдвойне явило торжество.

50

Итак, из отрочества в юность
Пошел мой доблестный Хуан.
Из глади он шагнет в бурюность,
А там и встретит ураган.
Все может быть... Для Хуанито
Теперь большая жизнь открыта,
И мы последуем за ним,

Любуясь вихрем молодым
Его страстей и упоений,
В которых он, сжигая грусть,
Себя сжигает. — Ну и пусть
Сжигает!.. В ритмах вдохновений
Пусть пребудет мой герой
До встречи с новой главой!

* * *

Глава 3.

1

Пятидесятью годами
Переломился страшный век,
Повеял сумраком над нами
И чуть остановил свой бег.
Стал кротче он на миг и кратче,
Когда на подмосковной даче
Грузин весьма преклонных лет
Уже со смертью *iéte-à-iéte*
Боролся. Тщетное боренье. —
И медицинский бюллетень
Мир известил, что Сталин тенью
Стал в мартовский промозглый день.
Тридцатилетья круговерть
Остановила только смерть.

2

Он тридцать лет царил в России,
И *так* никто не мог царить.
Что мы в истории сносили,
Какую царственную прыть, —
Все было проще... Ваня Грозный
В сравненьи с ним — пастух колхозный;
Петр (даже чтя его талант!)
Был как правитель дилетант;
И вовсе несопоставимы
По части следствий и причин
"Герой" Ходынки и Цусимы
И наш кремлевский господин.
Один "кровавым" был по кличке,
Другой *в крови жил* по привычке.

3

И вот уже рыдают скрипки,
 И люди плачут, не таясь,
 И флагов траурная вязь
 Шлет черно-красные улыбки
 Над этой скорбною толпой,
 Которую сроднил с собой
 Диктатор мертвый, но живущий,
 И даже после смерти — *сущий*.
 Под гром литавр и всплески труб,
 Значенье тишины развея,
 Несут под своды Мавзолея
 Набальзамированный труп.
 (Там Сталину подыскан кров,
 Пока не выкинет Хрущев).

4

Посмертный ритуал затвержен,
 Как список сталинских цитат;
 Уже над траурным кортежем
 Последние слова звучат,
 В которых миру возвестили,
 Что сталинизм остался в силе,
 Что в единении народ
 И Партия его живет,
 Что "гениальный продолжатель
 Ученья Ленина" почил,
 Но дал нам верный указатель,
 Куда брести по мере сил,
 И что "наследники" успели
 Любовно поделить портфели.

5

То были мелкие людишки.
 Сейчас они низведены
 Или до пенсионной книжки,
 Или до преданий старины,
 Или объявлены "врагами",
 Или подмяты сапогами
 В партийных пленумах своих,
 Где кто помянут, тот и лих.
Тогда же Молотова слово
 И Берии колючий взгляд,
 И пустозвонство Маленкова
 Казались нам важней стократ,
 Чем к власти рвущийся открыто
 Наш новый "ленинец" — Никита.

6

Везет России на премьеров:
 Тот глуп, тот зол, тот просто сер.

Но среди всяческих примеров
Никита дал нам сверхпример.
Пример того, как править можно
Патриархально и несложно,
Кидая государство в шторм
Полубезумств, полуреформ,
Полунадежд, полурепрессий,
Полетов...чуть не до Луны,
И всяческих полуагрессий
На лезвии полувоины.
Лик жизни был лишь *полуликом*
В "десятилетии великом".

7

Все вполовину, все бесчестно,
Все "гибко", все не до конца...
Напрасно съезд, нам всем известный,
На миг восколыхнул сердца.
Он мог бы стать прекрасной датой:
Двадцатый съезд в наш век *двадцатый!*
Но где там!..Сделав свой доклад,
Никита тут же – шмыг назад,
В кусты...С усердием нечистым,
Негодованием горя,
Клеймил он "культ", но сталинистом
Был сам Хрущев, и был не зря.
Не зря, круша одной рукой
"Культ", он лепил себе – другой.

8

И все ж Хрущеву благодарность
Принести я просто обречен.
Пусть он в политике – бездарность,
Пускай в искусстве – неуч он,
Пусть со своею *кукурузой*
Он лег тяжелою обузой,
Подмявши севооборот,
На деревенской жизни ход;
Пусть вихрь бумажных спекуляций
Взметнул он, как "девятый вал",
Пусть он лишил нас облигаций,
Америку ж не перегнал,
Он все же *поднял целину*,
И, прямо скажем, не одну.

9

Хрущев полезен был нам, ибо
Не ведая, что сотворил,
Он культа сталинского глыбу,
Как там ни худо, – все ж разбил.
Разбил, хоть не до *основанья*,

Но *основательно*. И знание
Нам дал о том, чего мы сами
Не зная могли еще годами:
О царстве лжи, о миллионах
Убитых, сосланных людей,
О возвращенных заключенных
Не возвращавших лагерей.
О многих днях, что пережиты,
Мы знаем лишь со слов Никиты.

10

Нет, он не праведник, не гений,
Как человек — вообще дерьмо;
На нем самом лежит клеймо
Не заблуждений — преступлений.
Однако он хоть приоткрыл
"Железный занавес" проклятый,
И снова миру возвратил
Мир наших душ, слепой и смятый.
Он, даже вопреки себе
И неожиданно, — добился,
Чтоб стали думать о судьбе
Те, кто и думать разучился.
А чтобы *правду* познавать,
Всегда ли *праведников* звать?

11

Не напасешься их, пожалуй,
Да и к тому же правды ход,
Тем паче, правды запоздалой,
Не всех нас к *истине* ведет.
Как злые гарпии, сомненья,
Пристрастья, страсти, заблужденья,
Влекут с собою иногда
Куда-то...явно не туда.
Не зря же сталинисты были
Всегда так наглы, а сейчас
Они в чести, у власти, в силе,
И размножаются у нас.
И на портретах мне, ей-ей,
Усы видны из-за *бровей*.

12

Все это грустно...Но пора бы
Вновь зацепиться за сюжет.
Меня политики ухабы
Трясут уже немало лет.
Но от поэзии ни шквалы
Житейских горестей, ни скалы
Препятствий — не смогли отбить:
Легка послушной Музы пруть.

Пусть на нее прикрикнут грозно,
Пускай клеветают на нее, —
Она, как прежде, грациозна,
И все равно возьмет свое.
Хоть не всегда бывает "взять"
Нужней и лучше, чем "отдать".

13

Отдавши этот долг признанья
Красотке-Музе, я спешу
К тебе, мой Дон Жуан Маранья,
Тобой живу, тобой дышу,
Тобой люблюсь поневоле,
Когда в своей игривой доле
Ты в женщинах уже открыл
И пыл сердец, и плоти пыл;
И даже то, что их влюбленность,
Даруя ласки благодать,
Любого духа искушенность
Так ловко может искушать,
Что лишь опомнишься ты — и
Уже готов капкан "семьи".

14

В то время моему Хуану
Семейных уз не вышел срок.
Он не был гением обмана,
Но не обманывать не мог.
Не насыщаемый любовью,
Он быстро пресыщался новью
Своих знакомств, своих интриг.
Его удел — любовь на миг.
И было просто невозможно
Такой характер изменить;
Он понял, что любить несложно,
Куда сложнее — разлюбить.
И потому его порыв
В самом себе таил разрыв.

15

Он разрывал галантно, нежно,
Как если бы сорвав цветок
Он вдруг засовывал небрежно
В петлицу белый лепесток.
И на него не обижались;
Пусть даже трепетная жалость
Покинутых была сильна, —
Неважно. Женщинам сполна
Он воздавал такую страстью
В миг нежной близости, что им
Любовных шашней пилигрим

Казался паладином счастья.
Он был *мужчины образец*
Для женских любящих сердец.

16

Во всем веселый дух свободы
Его причастьем осенил.
В свои студенческие годы,
Как в спальни к женщинам, входил,
Являя чудную сноровку,
Хуан уверенно и ловко.
Он смаковал любой момент,
Как самый истинный студент:
Открыто, чувственно и бойко.
Наездником — в событийный скок
Бросаясь, — брал от жизни столько,
Сколько хотел и сколько мог.
Таков уж юности закон:
Она не ведает препон.

17

Хотя препоны, к сожаленью,
Всегда найдутся, и всегда
Они сумеют мрачной тенью
Лечь на светлейшие года.
С Хуаном так оно позднее
Случилось. Хоть судьбой своею
Он лишь любви одной служил,
Но и несчастьем заплатил
Посильный счет солидных бедствий,
Когда отбыть пришлось ему
Известный срок в известном месте,
А проще — угодить в тюрьму.
(Чтоб жизнь прочувствовать вполне,
В ней побывать пришлось и мне).

18

Любой ругает скорбный опыт,
Лишь раз тюремность пережив.
Нельзя сказать, чтоб этот ропот
На жизнь был очень справедлив.
Хоть я врагу не пожелаю
Изведать то, что нынче знаю,
Тюрьму советскую познав,
Я все же сохранил свой нрав,
Мятежный, пылкий, неумный,
И опыт с ним соединил,
Весьма полезный и объемный,
Дабы набравшись новых сил,
Идти по жизни хоть с трудом,
Но не тайком, а напрямиком.

19

Ну а Хуан, еще не зная
 Того, что в будущем грянет,
 Пока студенческого рая
 Вкушал волшебно-сладкий плод.
 В горячке модных увлечений,
 Любовных драк и приключений,
 Победами заворожен
 У девушек, у чьих-то жен,
 Он в ритме бешеном жил, чтобы
 Суметь в студенческой среде
 Пospеть и преуспеть везде:
 В кругу любви, в кругу учебы.
 Ведь пресловутый *путь наук*
 Весьма напоминает "круг".

20

И даже — если очень точно
 Здесь выразиться — он отнюдь
 Не столько *прочный*, сколь *порочный*,
 Круг этот, где порой замкнуть
 Готовы мы себя навеки,
 Душой — скопцы, судьбой — калеки,
 Иллюзий жалкие рабы,
 Псевдоучастники борьбы
 Идей ненужных и неновых,
 В которых видятся нам: клад,
 Сокровища... — И вот в оковах
 "Научных" выдан суррогат
 Нам истин — лоскутком бельма,
 И мыслей — горем без ума.

21

Куда честней — отбросив муку
 Сомнений, фраз и перифраз,
 Похерив эту всю науку,
 Влюбиться в блеск девичьих глаз,
 Вобрать в себя всю страсть и волю,
 Познать иную жизнь и долю,
 Без усложнений, без затей,
 Без сногшибательных идей.
 А просто к жизни приобщиться,
 Застыть и кануть в пустоту —
 Как в воздухе, бывает, птица
 Вдруг застывает на лету...
 Ах, если б этой птицей стать,
 И этак — в тишь, и этак — в гладь!

22

Увы! Не суждено покоя
 Ползучим тварям на земле.

Жизнь, громыхая, строя, кроя,
Кроит судьбу людей во мгле.
Кроит, не дав им передышки,
Запутав мыслишки, делишки,
Ехидно слабых шевеля,
А тех, что посильнее, — зля:
"Давай, мол, умник, силу пробуй!
Авось, ты схватишь жирный куш!"
И, обуян промозглой злобой,
Глядишь, — и губит сотни душ
Дорвавшийся до власти вдруг
Какой-то "деятель наук".

23

Хуан, к познанию приобщаясь,
Довольно быстро разобрал,
Что если есть в науке завязь,
То есть и то, что он назвал
"Злой чревоотчиной бесплодья",
Когда "ученому" подобью
Приносят в жертву мысль и труд,
И баррикады книжных груд;
Когда, раскадрив знаний разность
Гробами серых картотек,
Преображают слова праздность
В "науки" праздничный разбег.
И чем юродствуют сильней,
Тем больше важность "степеней".

24

Иерархическое чванство
И лизоблюдство без конца.
Чинов и званий постоянство
И переменчивость лица —
Вот смысл карьер и продвижений,
Теорий, умозаключений,
Приветствий и надгробных слов
Ученейших профессоров.
Здесь надо подпустить елея,
А там поймать интриги нить,
Здесь пить в разгаре юбилея,
А там и в гроб заколотить
Того, кому вчера кадил,
Ну, и...вредил по мере сил.

25

О мир научный!..Вихри масок
И подло скроенных натур!
Ансамбль из гофмановских сказок
Марионетковых фигур
Натыканный на авансцене,

Играет "действия" об измене.
Кому? Чему? — Не в этом суть.
Кого-нибудь да есть лягнуть,
Кого-нибудь да есть пристукнуть,
Кого-нибудь оклеветать,
И всякой мерзости преступной
Чуть не осанну возглашать.
(Уж тут простор свободе дан
По части всяческих "осанн").

26

Перед Хуаном и другими
Студентами во всей красе
Предстали гномиками злыми
Профессора...Пожалуй, все
Они неплохо говорили;
По части подпусканья пыли
В глаза, во всем являя свой
Велеречивейший настрой.
Продажных типов галерея
Была до ужаса мерзка:
Один тупец глупца тупее,
И каждый подл наверняка.
И каждый был всегда готов
Растлить "детей", предать "отцов".

27

Ах, эта смена поколенья
На перепутьях смутных дат!
Когда виновный в преступленьи
Вдруг кажется невиноват.
Когда, как встрепанные гривы,
Вдруг колыхаются архивы,
И в неожиданный момент
Находят тайный документ.
Когда смещаются понятия
О том, что было и прошло,
И молнией горят проклятья
Разоблачительных табло.
Когда, властителен и крут,
Эпоху судит пересуд.

28

Так было в тех, пятидесятих
Годах, рассеявших обман,
И возвестивших о расплатах,
По коим счет еще не дан.
В годину реабилитаций
Стенали сотни репутаций;
Стекала грязь, вскрывалась гниль,
Клевет двадцатилетних пыль

Вдруг отряхалась, чтобы снова
При случае опять осесть,
Даруя сталинизма месть
Тем, кто осмелится сурово
Судить, не разбирая лиц,
Не в рамках принятых границ.

29

Хуан учился на истфаке
И мог свободно наблюдать,
Как в яростной словесной драке
Схлестнулись, чтобы куш урвать
На ниве переосмыслений
Того, что было; осуждений
Того, что не было порой, —
Мужи ученые. Горой
Росли их книги и брошюры,
Вздымался "обличений" хор
(По нотам нужной партитуры
Их вел незримый дирижер,
С тем, чтоб "культ личности" разбить,
Но *Партии* не повредить).

30

Так, например, профессор Горин
Был сталинистом ярим. Но
Вдруг объявил о том, что в споре
Он, мол, со Сталиным давно.
Мол, Сталин был невеждой просто
В проблемах ленинизма; роста
Колхозных фондов; роль белка
Недооценивал слегка.
Мол, он запутал смысл сознания
Диалектического; дал
Неверный курс языкознанию,
Войну же чуть не проиграл.
Недаром Сталинград готов
Спасти был лишь Н.С.Хрущев.

31

Другой профессор, некий Кротов,
Стремился в лекциях своих
Увидеть смысл любых просчетов
В засильи принципов чужих —
"Троцкистски-ревизионистских",
Средь стран, для нас родных и близких.
Мол, бодрый коммунизма кресс
Сорвал нам Тито (он же Броз).
А Венгрию, само собою,
Пришлось нам кровью поливать,
Чтоб выкорчевать семя злое,

Что в землю бросил Имре Надь...
К тому же — у поляков блажь,
Хотя Гомулка — парень наш.

32

Но Кротов хоть умом был кроток...
Обиднее, когда умней,
Замаскированной, нежней,
Ложь извергается из глоток.
Запатентованная, за-
взятая, она в глаза
И души брошенная, льнет
И липнет. — Скользких фактов мед
Вас обволакивает...Тут
Поберегитесь!..Златоусты
Вкруг пальца мигом обведут:
Там — размалюют краски густо,
А там, где много их, — смягчат...
Глянь, прошлое — как райский сад.

33

О Клио!..Муза дорогая!
В чем символ твой и твой итог?
Тебя, лаская, распинают
На письменах бесстыдных строк.
Здесь торг "марксистских" спекуляций,
Псевдопроблем и профанаций
Превознесен в "научный" ранг,
Даруя скуки бумеранг.
А в лоне этой скуки смрадной,
В болоте студенистой лжи,
Паразитируют парадно
Наук "ученые мужи".
Друг друга хвалят иль грызут,
За что и денежки берут.

34

Конечно, разница в оттенках
Встречается у лжи...Иной
"Ученый", дрожь уняв в коленках,
На кафедре — совсем герой!
Таким был некий Викуловский...
Когда-то в прошлом сам Покровский
Благословлял его...Увы!
Покровскому "Иду на Вы!"
Он объявил...(когда тот помер),
Когда его долбали так,
Что только форменный дурак
Мог здесь не вытянуть свой номер
На счастье... — Счастье ведь, ей-ей, —
Лишь номер в смене лотерей.

35

Был Викуловский дядя тучный,
 Имел приятный баритон,
 Не столько громкий, сколько звучный,
 Любому слуху в унисон.
 Мог со студентом покалякать,
 На улицах мороз и слякоть
 Мог осудить, подтекст придав
 Сему насчет "*природных прав*".
 Ну, словом, мог сказать немало,
 Красуясь позою "борца",
 И громкий титул "либерала"
 Нося в личине подлеца.
 Но главной подлости пример
 Являл не этот лицемер.

36

Иван Иваныч Кобыкрайнен
 Был финский националист;
 Нельзя сказать, чтоб слишком "крайний",
 Нельзя сказать, чтоб экстремист.
 Но все ж со страстию крамольной
 Мечтал он о "*Суоми вольной*",
 Мечтал, как говорится, всласть...
 Однако, ненавидя власть
 Советскую, он правоверно
 На людях ей всегда кадил,
 Скрипел зубами, но служил,
 И, вроде бы, служил примерно,
 Тайком мечтая как-нибудь
 В Финляндию перемахнуть.

37

Сей Кобыкрайнен герб подонства
 Мог бы по праву заслужить...
 Холопского низкопоклонства
 Являя пламенную прыть,
 Он написал трактат ученый,
 Где о Финляндии, спасенной
 От шведов русскими, — вешал,
 Где произвольно тасовал
 Событья, документы, даты,
 Исход сражений, имена,
 Твердя, что русские солдаты,
 Суоми "*пробудив от сна*",
 Ей дали мир, покой, прогресс
 И прочий арсенал чудес.

38

На этом "*докторскую*" сделал
 Иван Иваныч для себя.

Во лжи витийствовать умел он,
Остепененность возлюбя.
Понятям "совесть" или "честь"
Блаженство "званий" предпочесть,
Сановную усвоить важность,
Загладив явную продажность, —
Все это было для него
Раз плюнуть...Разумом лакейства
Он понял, что важней всего
В науке — просто фарисейство,
Фарш из цитат, форс-трафарет...
Иначе вам — карьеры нет.

39

Вот с этим-то недобрым типом
Хуану было суждено
Схлестнуться...Раз, боля гриппом,
И четко зная, что вино
Порой бывает нам полезней
Иных лекарств от всех болезней,
Зашел, слегка грустя, Хуан
В один шикарный ресторан.
Деньжата были...было скушно
И мутновато на душе.
И лица женщин равнодушно
Мелькали тусклыми клише,
Не вызывая прежний пыл...
Наверняка, он болен был!

40

Теперь, читатель мой, припомни,
Как начинался наш роман.
Вернуть сюжета круг легко мне
Туда, где кругу запуск дан.
Ты помнишь? — В пошло-ресторанном
Чаду предстал немного странным
Мой Дон Жуан — красавец, фат,
Довольно пьяный...виноват,
Скорее, выпивший...скорее —
"Чуть поднабравшийся", — ишу
Я данный термин поточнее,
Ибо ему отнюдь не льщу,
Ибо мне истины экстракт
Дороже дружбы — это факт.

41

Хуан взбодрился понемножку,
Взглянул: вокруг-вперед-назад...
Сперва заметил чью-то ножку,
Ну, а потом и чей-то взгляд,

Точнее, взгляд изящной дамы,
Смотревшей искоса, непрямо,
Но все же на него. Хуан
Ответил взглядом ей. И план
Дальнейших действий был естествен
И прост, как плоти естество,
Когда любой намек уместен,
Коль близит страсти торжество,
Лишь бы приятен был для дам
Намек...как и мужчина сам.

42

Ах, женщины! Я, право, каюсь,
Что впал в такой фривольный тон,
Что легковесно повторяюсь
Я в адрес девушек и жен,
Пикантных дам, не утоленных
Мужьями скучными, влюбленных
В киногероев боевых
И просто в мальчиков иных;
Невинных девушек, которых
Замужество порой не ждет,
А, значит, ждет их горький ворох
Безмужних, тягостных забот,
Где проституткою не стать —
Так вовсе радости не знать.

43

Известно: грех пришел из рая,
А на земле взрастил посеяв.
И я, друзья, не понимаю
Холостяков и старых дев.
Все относительно; подспудно
Все в жизни грешно или блудно;
Так отчего же этот блуд
И осуждают и клянут?
О беспросветная прозрачность
И призрачность морали!..Как
Вы можете ругать бардачность,
Когда вся жизнь — сплошной бардак?
Когда в любви не согрешить —
Так значит попросту не жить.

44

Не лучше ль до конца раскрыться
Хоть в дон-жуанстве, хоть в тиши
Любви, чем жить, скрывая лица
И умертвляя жар души?
Жить конформистски и *морально*
В кругу того, что "социально"
Оправдано, разрешено,

Того, что *обществом* дано?..
Когда ходячих правил тонность
Громадят на морали грунт,
Я призываю окрыленность,
Я вызываю страсти бунт.
Пускай тот бунт наивен, мним, —
Он красочно-неповторим.

45

Любовью мы спастись способны
От мира желчи и тоски,
Где люди часто мелко-злобны,
А чаще попросту мелки.
Лишь в миг, когда души сиянье
И тел волшебное слиянье
Дадут о вечности намек,
Тогда сознание, как зрачок,
Расширится, чтоб видеть Бога,
Поскольку Он — любовь сама,
Кто б ни стоял там у порога
Слиянья — Бог иль Сатана.
Все остальное, чем порой
Нас мир прельщает, — звук пустой.

46

Итак, не мудрствуйте поспешно!
Любовь в любом ее быту
И бытии уж тем безгрешна,
Что в мир приносит Красоту.
И вот пример вам: мой Хуан
Уже отнюдь не водкой пьян,
А благородно опьянен
Любовью вспыхнувшей он.
"Сейчас, — подумал он, — закрою
На миг глаза. И пусть она
Идет сюда; потом со мною
Садится... Если влюблена —
Так будет." — И, глаза закрыв,
Он мысленно ей слал призыв.

47

Не знаю, по каким каналам
Телепатическим текла
Хуана мысль... Но дама встала
И к Хуанито подошла.
Он ей взглянул в лицо; склонилась
Она к нему; в груди забилося
Сильнее сердце — и они
Уже — одно; уже — одни.
Как будто ресторанный грохот
Куда-то уплывает вмиг,

И замолкает пьяный хохот,
И возникает страсти лик.
В его руке – ее рука,
Его тоска – ее тоска.

48

Она была весьма красива,
Хоть и не слишком молода.
Волос изысканная грива –
Льняная, пышная руда
На плечи падала...Одета
По всем канонам туалета
Вечернего, – была она
И элегантна, и нежна.
Немного выпив, предложила
Она Хуану ехать к ней:
Мол, дома ей давно постыло
Без мужа...Ну, и без гостей.
А Хуанито пыл и прыть
Все это могут заменить.

49

Потом – такси. Потом – квартира
Из многих комнат. И – постель...
Но скромно умолкает лира,
В подробностях дойдя досель.
Я думаю, читатель, ясно,
Что эта ночь была прекрасна,
Что сладко и помногу раз
Любовников сжигал экстаз.
Под утро Хуанито кротко
И очень крепко задремал.
Одной рукою обнимал
Он и во сне свою красотку.
Она ж глядела на него,
Как пленница на божество.

50

Был ангельски прелестен спящий
Юнец, воскресший Антиной,
С божественной, миротворящей,
Неповторимой красотой.
Он долго спал...Но вот очнулся,
Зевнул, легонько потянулся...
Уже вставать хотел...Как вдруг
За дверью – непонятный стук
И непонятное движенье...
(Муж? – Но ведь муж в отъезде был,
В командировке.) – В изумленьи,
В испуге мой Хуан застыл... –
С дороги, вдрызг уставши за ночь,
В дверях стоял Иван Иваныч.

Глава 4.

1

Да, жизнь порою нас кидает
В такой забавный переплет,
Что даже тот, кто не хватает,
Как говорится, с неба звезд, —
И тот под "звездное мгновенье"
Вдруг попадает. (Да простит
Мне Цвейг подобное сравненье!)
Тем паче, что звезда горит
Как символ счастья для немногих.
Гораздо чаще та звезда
Сбивает нас с пути-дороги.
И лишь опомнишься — узда
Судьбой накинута на нас
В иной, весьма недобрый час.

2

Встречаться с разъяренным мужем
Любовнику его жены
Всегда нерадостно...Разбужен
Профессором, схватив штаны,
Пытаясь их надеть поспешно,
Дабы не выглядеть столь грешно
После греха, Хуан (уже
Почти что в полунеглиже),
Боксерскую принявши стойку,
Готов был, не жалея рук,
Предотвратить головомойку,
Которую ему супруг
Обманутый задать решил,
Чтоб "честь спасти" по мере сил.

3

Иван Иваныч бил, как молот,
Но юноша — недаром он
Был вдохновенно-дерзко-молод, —
К тому же был весьма силен.
Он принял "ближний бой" умело,
Боксируя легко и смело.
Сперва удачный аперкот,
Потом один удар в живот —
И Кобыкрайнен грузной тушей
Свалился, ртом глотая крик.
(Хвала, что хоть он Богу душу
Не отдал в столь пикантный миг!)
Ну, а виновник стольких бед
Помчался в университет.

4

Но там "последствия" назрели
 Молниеносно. Юный плут
 В течение одной недели
 Был исключен и вызван в суд.
 В суде Хуан мой обвинен
 Был в хулиганстве. — Наш закон
 Суров (он быть иным не может!)
 И обвинитель лез из кожи,
 Желая преподать урок
 Высокой нравственности... С пылом
 Он требовал назначить *срок*
 Такой, чтоб неповадно было
 Всем, кому воля дорога,
 Кому-то наставлять рога.

5

Ждать милосердия от Фемиды —
 Печальный труд в любой момент.
 Получишь "мартовские иды"
 На лоне "греческих календ".
 Хуан, почти не понимая
 Происходящего; желая,
 Чтобы любой конец скорей
 Заткнул фонтан пустых речей
 Судебных сводников, старался
 Держаться вроде бы шутя,
 Чуть-чуть игриво, и хотя
 В конце концов разволновался,
 Но тут волнение вполне
 Уместным кажется и мне.

6

О да, читатель! Я взволнован.
 Я вспоминаю, как со мной
 Возился некий "Дом Большой",
 Которым был я арестован
 За чисто юношеский грех,
 Свершенный по примеру тех,
 Кто испытал у нас в России,
 Что значит воля тирании,
 Когда она свершает суд,
 Когда она на все готова,
 Лишь бы не выпустить из пут
 К Свободе рвущееся слово.
 Ведь "слово" — к *действию* прицел.
 И — *ergo* — суть судебных "дел".

7

Я был "политиком". И в этом
 Герой мой от меня отстал.

К тому же как-никак *поэтом*
Себя я в двадцать лет считал.
(Хотя "зеленые" писанья
И декадентские мечтанья,
Которыми грешил тогда,
Не повторю я никогда).
Зато, в тюрьму попав, я тут же
Стал стихотворно смел и зол.
И дух "не мальчика, но мужа"
Душою творчества обрел.
Воистину, чтоб *так* мужать,
Тюрьму полезно испытать.

8

Язык мой – враг иль друг?.. – Простые
Вопросы роковой черты.
Ведет он в матушке-России
До "Киева"...иль Воркуты.
Библейской мудрости отвага
Стихов из "Доктора Живаго",
Стенанья за "простой народ"
Иль просто хлесткий анекдот –
За все спокойно вам "отвесить"
Могли вполне солидный срок
По "пятьдесят восьмой" (пункт десять)
И прочно спрятать под замок.
Иль даже – есть такой прием! –
Упрятать в сумасшедший дом.

9

О стражи нашего порядка!
О милый наш советский строй!
Уж если жизнь идет не гладко,
Ее не сгладить Колымой,
Не заютюжить лагерями,
Не загвоздить ее штыками,
А пропагандною волной
Не затопить весь шар земной.
Преданья прошлого не стерты,
Как их в сознании ни стирай.
Был "третий Рим"; есть "Рим четвертый";
Ведущий в *Коммунизма рай*.
Но будущее не за ним:
Не *все* пути приводят в Рим.

10

Чем строже у страны законы,
Тем беззащитнее страна.
Власть обрекает миллионы,
Но и сама обречена.
С того и злобствует. И мучит

Людей. И делается круче.
Бессилье силы – путь ее
В конечное Небытие.
Но Мигом править – это тоже
Не так уж мало...Миг иной
Бывает вечности дороже
И бесконечности самой.
Ведь все мы, грешные, живем
В коротком *Миге*. Только в нем.

11

Когда ж сквозь этот "Миг" проглянут
И дни, и месяцы тюрьмы,
Когда тебя этапы тянут
В район той самой Колымы,
Когда кругом – сплошные "урки",
Блатные, "суки" и "придурки",
Весь уголовный разнобой
С татуированной судьбой;
Когда от пяток до прически
Ты просто "зэк" – "мать-перемать!" –
То, право, *это* философски
Куда как сложно воспринять!..
"Все относительно", но все ж
Ты от конвоя не уйдешь...

12

Хуан мой получил "два года".
И вот уж в лагере – с толпой
Таких же "зэков" – он у входа
В большую "зону"...Зол конвой
(*Шманяющий* и разводящий)
На ветер, дождик морозящий,
На холод...Да и "зэки" злы;
Вскрыв чемоданы, сбив узлы
Пожиток скудных и убогих,
Свершает надзиратель "шмон":
Не дай Бог, кто-нибудь с дороги
Пришел сюда вооружен,
Допустим, ножиком складным
Или наркотиком каким.

13

Но – все на уровне закона,
И надзиратель сделал знак:
Мол, ничего во время "шмона"
Не обнаружено...В барак
Загнали всех, пересчитали,
Остригли наголо, сказали,
Кому в какой бригаде быть,
В какой кому хибаре жить;

Что должно делать, что не должно,
Что в прок идет, а что не в прок,
Как получить "зачеты" можно,
А как — порой — и новый "срок".
Мол, строй тюремное житье
И помни: "каждому — свое".

14

Хуан "усек" все это сразу,
И быстро понял в свой черед,
Что жизни лагерной заразу
Не каждый здесь переживет.
Не каждый сможет быть хитрее
Хитросплетений Одиссеи
Законвоированных дней...
Лишь тот, кто внутренне сильнее,
Кто грузью молотов-мгновений
Не будет сдавлен, сбит, подмят,
Тот сможет вынести стократ
Сверхтяжесть зол и унижений,
Которые закон тюрьмы
Всегда диктует "властью тьмы".

15

О медный сор тюремных будней,
Бег зарешеченных забот!
Бесплодный улей мыслей-трутней,
Похожих на могильный грот!
Вы, — дни — из жизни вычитанья,
Кривые ребусы страданья,
Какой железный логарифм
Вас заковал в решетку рифм? —
Не знаю... — Просто вспоминаю
Свою тюремность... И сравня
Мою с Хуановой, — считаю,
Что он везучее меня,
И — плод фантазии моей! —
Пожалуй, даже поумней.

16

Но мне как будто неприлично
Упомянуть про этот пункт:
Мол, вымысел... Мол, фантастично...
Хочу копнуть я жизни грунт
Реально... Вычертить приметно,
Натурно, выпукло, "объектно",
"Субъективации" не дав
Здесь никаких особых прав,
Сверхдостоверного героя,
Хочу... Но тут один пустяк
Мешает: логика с мечтою

Не согласуются никак.
И хоть я с логикой на "ты",
Но мне милей – альков мечты.

17

В том поэтическом алькове
Все мысли жемчугом цветут,
Блестят алмазы в каждом слове;
Таится в рифме изумруд.
Пылает радуга в сюжете
И – розой по иной планете –
Кочует вымысел зари,
Как принц у Сент-Экзюпери.
Так разве эту сказку можно
Из жизни выбросить затем,
Чтоб осторожно и острожно
Брести в плену "*реальных*" тем?
Перевернись, романа лист! –
Какой я к черту реалист?

18

Другое дело, что мечтами,
Как и реальною судьбой,
Повелеваем мы не сами,
А Некто, очень неземной.
И потому земною кручей
Так помыкает посох-случай,
И в этом Божью благодать
Порою трудно распознать.
Лихи крутые перепады
У человеческой стези!
То в рай несет, то в круги ада,
А, в общем, – случай, вывози!..
А, в общем, если хочешь в рай,
Смелее действуй и дерзай!

19

Хуану моему явился
Желанный *Случай* в свой черед.
Он в женский облик воплотился
И дал ему любви оплот.
В трясине лагерного быта
Вдруг началась для Хуанито
Иная жизнь, чем у его
Друзей по зоне... Волшебство
Свиданий, горечь расставаний,
Все, что могло сполна увлечь
В часы раздумных ожиданий,
В минуты сокровенных встреч, –
Все было с ним, как будто он
И не был в лагерь заключен.

20

Проснувшись как-то до подъема,
 Хуан, с трудом проспавший ночь,
 Почувствовал сквозь полудрему
 Жар лихорадки...Превозмочь
 Болезнь пытался он напрасно.
 Его тошнило...Было ясно,
 Что на работу в этот раз
 Он не ходок...И точно в час
 Открытья лагерной санчасти
 Пошел туда он на прием,
 Чтоб все болезни и напасти
 Свои раскрыть перед врачом
 И получить, хотя б на день,
 Вполне законный бюллетень.

21

Но получил он нечто боле
 Того, что приобрести хотел.
 Ему в его тюремной доле
 Раскрылся радостный удел.
 Пред ним сидела очень кротко
 Весьма пикантная красotka
 В халате белом...То была
 Врач лагерный...Она слыла
 Роскошной женщиной...Имела
 По службе капитанский чин,
 Под формой – ангельское тело,
 С ума сводившее мужчин...
 Лишь тех, конечно, с кем она
 Бывала до конца нежна.

22

Елена Марковна (так звали
 Врачиху) в лагерной среде
 Рассчитывать могла едва ли
 На то, что в тусклой череде
 Дежурств, обходов, операций,
 То бишь *рабочих* ситуаций,
 Ей выпадет момент такой,
 Когда ее мечты герой
 Вдруг обернется юным, стройным,
 По-детски жалобно-больным,
 Таким красавцем-заклченнным,
 Что прямо хоть венчайся с ним...
 Хоть убегай с ним...И мосты
 Сжигай во имя Красоты.

23

Елена Марковна женою
 Была полковничьей...Супруг

Ее — мужчина с сединою,
В летах, свершал карьеры круг,
Не думая о генеральстве,
Довольный тем, что сам — в начальстве
(Начальник лагеря!). Служил
Старательно; порою пил
(Не до запоя). Обожая
Жену, шикарно одевал
Ее, резонно полагая,
Что тем любовь завоевал.
(Любви гарантия — мощна,
Коль плоть иная не мощна).

24

Но ясно, что сама Елена,
Красавица во цвете лет,
Мечтала пылко, неизменно,
Познать иной любви предмет.
Любви мужчины молодого,
Красивого и удалого,
Такого, чтоб ее-то плоть
Лхбовник смог преобороть
В экстазе секса до предела,
А в сексе "Лена" знала толк...
Что ей полковничье-то тело!
Что сам полковник!..Ей бы полк
Красивых, бравых молодцов
Иль, вроде как Хуан, юнцов.

25

Хуан стоял пред нею бледный...
Елена тихо подошла
К нему, сказав: "Мой мальчик бедный,
Давай, разденься..." — Помогла
Рубашку снять ему, касаясь
Груды, и сладко восхищаясь
Отливом кожи, мышц игрой
И гибкой талии красой.
Затем прослушала дыханье,
Велела показать язык...
И вот уж в сердце ей проник
Огонь безумного желанья...
Что жар гриппозный!..Ей самой
Пожалуй, впору быть больной!

26

Хуан, имея вид невинный,
Был слишком опытен, чтоб враз
Не оценить значенье фраз
И взглядов женских...Он картинно
Стоял, по пояс обнажен,

Уже подспудно подключен
К волшебной связи ощущений,
В которой таинство общений
Мужчины с женщиной — без слов,
Без монологов, — непреложно
Вмиг торжествует... А покров
Смушенья смят неосторожно...
Поскольку что смущаться там,
Где слиться суждено телам?

27

Почувствовав ее дыханья
Прерывистость и перебой,
Решил отбросить колебанья
Мой заключенный Антиной.
Сначала руку тихо поднял,
Привлек Елену, нежно обнял
За плечи, а потом чуть-чуть
Другой рукой ощупал грудь,
Раскрыл халат; застежки платья
Вмиг расстегнул; плотней прижал
И, чувствуя в ответ объятья,
В раскрытый рот поцеловал.
Среди ткемного поста
Так сладки женские уста!

28

Хуан (хотя и был больным он)
Все ж не ударил в грязь лицом.
Он отдавался страсти с пылом
И оказался молодцом,
Когда, устав от воздержанья,
Он раза три познал желанье,
Елене трижды подарив
Слиянья сладкого прилив.
Причем все это в срок кратчайший
(Не более, чем в полчаса!)
Я не вдаюсь в детали дальше,
Скажу одно лишь: чудеса
Творит самца любовный пыл,
Коль он в мужчине не остыл.

29

А как остыть он мог в Хуане,
Когда он молод был и свеж?
Ему, пожалуй, в этом плане
Неведом крайний был рубеж.
Он млея в азарте неизменно...
Но прошептала тут Елена,
Что может кто-то на прием
Прийти, заставши их вдвоем.

И как ни хороша услада,
Но все-таки пора кончать...
К тому ж еще парнишку надо
И *по-другому* исцелять...
И вот Хуан мой в карантин
Идет, глотая аспирин.

30

Он помещен был в лазарете
На неопределенный срок.
И, право же, на всей планете
Не мог быть краше уголок.
Все буднично: шкафы и койки,
В окне – вид скучной новостройки,
На стенах – шгукатурки масть,
Готовая вот-вот упасть...
Все, как обычно... Необычно
Лишь то, что буйной страсти шквал
И прозу делал поэтичной,
И от тюрьмы освобождал.
Воистину: лишь полюбя,
Свободным делаешь себя.

31

Тут забываешь про конвои,
И цепи кажутся легки.
Сникают стены древней Трси
И соловеют Солозки.
Тут безнадежная реальность,
С претензией на эпохальность,
Вдруг отступает. И тогда
Мгновеньем кажутся года.
Тут распадаются нежданно,
Как бы велением мечты,
И магаданские туманы,
И шахты волчьей Воркуты.
И для судьбы нет якорей
На дне проклятых лагерей.

32

Вернемся, впрочем, к нашей паре:
Елена Марковна, томясь
И млея в сладостном угаре,
Была б готова эту связь
С красавцем-эзком длить хоть вечно,
Но, рассуждая *человечно*,
Без эгоизма, – как оно
У женщины и быть должно! –
Она дошла до светлой мысли
В том плане, что и страсть – порок,
Коль ей не подсказать: "исчисли

Не срок любви, а ээка *срок*;
И так дела его устрой,
Чтоб он скорей попал домой."

33

И вот Хуан — в кругу удачи
(Хоть сам тот *круг* — в *квадрате* зон).
Приказом вскоре был назначен
Работать "санитаром" он.
Работка самая "блатная":
Сиди-посиживай, читая,
Да радуйся, что избежал
Отправки на лесоповал.
Прописывай порой микстуры,
Порою шприцы промывай...
И не сдерет с тебя три шкуры
Бригады ээковской бугай
(Какфй-нибудь бывалый вор,
А нынче — лагерный "бугор").

34

Елена же была отныне
В восторге от теченья дел.
Ее помощник по латыни
Вполне прилично разумел.
(Она ж доказывала мужу,
Что санитар ей *умный* нужен,
И самый веский аргумент
Был тот, что, мол, Хуан — студент,
А значит, "*inter pares - primus*" -
Он и как медик даровит:
Ведь тот, кто знает *Conjunctivus*,
Тот вылечит конъюнктивит...)
Ну и Хуан мой, в меру сил,
Латынью вдохновлен, "лечил".

35

Меж тем, "срок" шел. Шкалой "зачетной"
Он уменьшался день за днем.
И — наконец — (день поворотный!)
Особым лагерным судом
Хуан был вытущен "досрочно"
На волю... Ибо беспорочно
Ведя себя, он доказал,
Что все "ошибки" осознал,
Что встал на путь он "исправленья",
"Трудом" вполне преображен...
И вот в награду — снисхождение
К нему готов явить Закон,
Учтя, что "отбывавший срок",
Как говорят, "*извлек урок*".

36

Елена Марковна, тоскуя,
 Пришла Хуана провожать.
 Сквозь слезы, юношу целуя,
 Прося его "не забывать",
 Она в гостинице вокзальной
 Была – естественно – печальной,
 Но и практичной. Женский ум
 Предвидел все... – Хуан костюм
 Новейший получил... Сорочек
 Нейлоновых штук пять, часы,
 И выглядел – что "мой милочек"
 Из среднерусской полосы;
 Теплом бумажника согрет,
 "Как дэнди лондонский одет".

37

И – в путь!.. В вагоне электрички
 (Познав "столыпинский" вагон!)
 Избытком воли с непривычки
 Хуан был просто опьянен.
 (Лишь тот, кто знал "освобожденье",
 Изведал это ощущение,
 Когда смакуешь каждый миг,
 К которому "не зэк" привык,
 Как к должному... Когда простейший
 Штрих воли – символ золотой,
 И даже враг твой самый злейший
 Тебе милее, чем конвой.
 А жизнь – хоть и не без забот,
 Но без решетки – небосвод).

38

И наконец: вокзал знакомый,
 В тумане меркнувший мертво.
 (Хуан, – сказал бы я, – был дома,
 Когда бы *дом* был у него).
 Пока же – прямо в общежитье,
 Где некогда с веселой прытью
 Студенчески-беспечно жил,
 Где столько девушек пленил,
 Где было столько бито, пито,
 Где было весело любить,
 Где жизнь казалась так открыта,
 Как не могла открытой быть.
 Теперь же – прошлое, прости!
 И лишь приют дай обрести.

39

И он обрел его... на время
 Первоначальных бурных встреч.

Друзей ватагистое племя
Он смог рассказами развлечь,
Живописуя увлеченно
Картины жизни заключенных
(Картины — яркие тому,
Кто сам не испытал тюрьму,
Поскольку взгляд... дистанционный
Воспринимает чуждый быт
С романтикою, преломленной
Через "локальный колорит").
Ну, а концлагерная даль —
Сплошной-сплошной "*couleur locale*".

40

Итак, Хуан — герой застолья,
Объект признаний, клятв, порук
На шумной ниве алкоголя,
Где худший недруг — лучший друг.
Где обнимаются, дерутся,
Лжбовь клянут, в любви клянутся,
Где начинается пора
Крепчайшей дружбы... (до утра!)...
Все было, есть... Но и похмелье
Есть... Огрезвление, будней жуть,
Когда прикончено веселье,
И пьяный призрак не вернуть.
И — безнадежности грустней
Большая ностальгия дней...

41

От бюрократии лекарства
Еще никто не прописал.
Хуан познал все те мытарства,
Что каждый бывший "зэк" познал.
Порочный круг: нужна *работ*,
Но без *прописки* нет ее.
А на саму прописку — квота,
И, значит, — квота на жилье.
Работы нет и нет прописки...
Зато — тьма всяческих преград,
И в перспективе самой близкой
В тюрьму ускоренный возврат,
Где без особенных хлопот
Он вмиг "прописку" обретет.

42

О мир, в котором души — глуши!
Его познали мы сполна...
Конечно, в будущем разрушит
Тебя возмездия волна.

Но, видно, долго ждать придется,
Пока отмщение воздается,
Пока взгремит: "не мир — но меч!",
Чтоб хамству голову отсечь.
Увы, "из-за деревьев леса"
Порою нам не увидеть.
Христа иль, скажем, Геракла
В изгое трудно распознать.
Лернейской гидры нет давно,
Но гадов всяческих — полно!

43

Хуан, туда-сюда метнувшись,
Поговоривши кое с кем,
В бездушии чуть не захлебнувшись,
Решил дать волю мыслям тем,
Которые ему невольно
Пришли подспудно и "крамольно",
Напомнив юноше, что он
Испанцем все-таки рожден.
И раз железные запреты
Легли сургучно на судьбе, —
Пусть будет так!.. В ответ на это
Вернет он Родину себе...
И вот уже Хуан строчит
Послание в советский МИД.

44

В нем говорилось, что желает
В Испанию вернуться он,
Что он об этом заявляет
По праву (ссылка на закон).
Что нынче, подданство имея
Советское и сожалея
Об этом, он как человек
Свободный, хочет (имя рек)
Сознательно, не по капризу,
Как, скажем, (ряд имен в пример),
Оформив выездную визу,
Уехать из С.С.С.Р.
Засим: казенных фраз пять-шесть,
Ну и в конце — "имею честь!"

45

Ответ явился очень скоро
В лице пяти-шести персон
(Все в штатском)...Ими после спора
(Короткого) препровожден
Хуан был в тихонькое место,
Где, выслушав его протесты,
С ним провели "беседу", дав

Ему совет, чтоб он свой нрав
Умерил бы, коль не желает
Свободу снова потерять,
Что он *законы* плохо знает
И должен на себя пенять,
Что с ним беседует *Чека*
"Профилактически"...пока.

46

А *после* может быть похуже...
Да и вообще, куда он лез?
Кому в Испании он нужен?
Какой его попутал бес?
У нас в стране его растили,
В детдоме холили, кормили...
Ну, посадили раз...Так в том
Кто виноват?..Перед судом
Равно ответственные все люди,
Все "граждане"...Кто натворит
"Делов", тот, ясно, и отбудет
В какой-нибудь себе "Мадрид"...
(—Я это, юнэша, шучу,
И просто вам *помочь* хочу).

47

Так разливался штатский некий,
В Хуана *твердый взгляд* стремя.
Он знал все "истины" на свете,
"Неистины" все заклея.
Он посоветовал трудиться
Хуану; поскорее слиться
С "рабочим классом" и найти
Для жизни "верные" пути;
Перевоспитывать сознание,
Тем паче, что для образца
Имеет он, Хуан Маранья,
Пример *достойного* отца...
Его убили (мать твою!),
Но с нами эн..."всегда в строю".

48

—Вот так-то, юноша! — добавил
Чекист, закончив поучать
Хуана. — Если строго правил
Придерживаться, мы начать
Должны бы "*дело*". И вам плохо
Пришлось бы...Но...не та эпоха...
И мы готовы отпустить
Вас при условии: не дуришь,
Во всем вести себя потише;
Жить там, где больше по душе, —

В селе, "на диком Иртыше"
(Там, безусловно, вас пропишут).
А где-нибудь...на целине
Прилично можно жить вполне.

49

С таким напутствием и вышел
Хуан на улицу...Вздыхнул,
Взглянул на городские крыши,
В "пивбар" ближайший заглянул;
В соседнем парке "прошвырнулся",
Потом к себе "домой" вернулся;
Уже – не пьян, но полупьян –
Собрал пожитки в чемодан.
Погладил брюки, прифрантился
Немножко; наскоро распил
Бутылку с другом; распростился
С ним; сел в такси и укатил
С предельным шиком (что твой лорд!)
Дорогой на аэропорт.

50

И вскоре города громада,
Мелькнув, осталась позади...
А впереди – огни фасада
Стеклоанного; а впереди –
Аэропортная окрестность;
Гул реактивный; неизвестность
В судьбе; и облачность высот,
Куда взмывает самолет...
И с ним судьба взмывает тоже...
Полет отчаянный...куда?..
Кто знает? Кто ответить сможет:
Где счастье ждет, а где беда?
И что за призрак наяву
Откроет пятую главу?

* * *

Глава 5.

1

Нет! Все же миром правит Случай.
И в череде бегущих дней
Закономерности могучи,
Но исключения – сильней.
Ведь даже хромосомы в гене
Есть лишь цепочка исключений.

И, значит, человеческий род
Не общим правилом живет.
А в повседневной бытовщине
Случайность — сила. — Разберись,
Попробуй, — по какой причине
Судьба влечет то вниз, то ввысь?
"Детерминирован" ли ты
И до какой такой черты?

2

А впрочем, ни черта не ясно
В житейских будней кутерьме.
Понятно, что скользнуть опасно
Во тьме иль даже в полутьме
По брэнной жизни, постигая
Ее от края и до края,
От высших точек до низин,
Как будто даже до *глубин*,
Но и за видимостью зримой,
Конечно, так и не поняв
Судьбы своеобразный нрав
И жизни смысл непостижимый.
(Намеков на него полно,
А понимать их — не дано).

3

И только Случай нам понятен,
Как говорится, до конца.
О сколько он стирает пятен
С души иного подлеца,
Пройдохи, мнимого героя
Сверхсовременного покроя,
"Подкинув" им хотя б одну
Возможность: оседлать волну
Душевной гордости; сразиться
По-настоящему с судьбой,
И, принимая этот бой,
В горниле чувств преобразиться,
По-фаустовски ощутив
Вторичной юности прилив.

4

Конечно, по-иному чаще
Случается; и жизни ход
Героя в бытовщину тащит,
Пловца — на самый мелкий брод.
Но тут уж надо постараться
Противостать, сопротивляться.
Своей свободой дорожа,
"Необходимости" служа
"Осознанной", став "реалистом",

Увязнувшим в "реалий" вязь,
Суметь душой остаться чистым,
Хотя б ее втоптали в грязь.
И в общем-то "себя блюсти",
А если надо – крест нести.

5

Однако возвратимся снова
К герою моему...Хуан
Решил для новой жизни крова
Искать под небом южных стран,
Точнее, "за хребтом Кавказа"...
(Невольню Лермонтова фраза
Сама собой из-под пера
Летит...Случайностей игра
Дублирует язык Эзопов
Веков минувших...И сейчас
Нет, скажем, Дубельта у нас,
Но есть какой-нибудь Андропов...—
В архиве "голубой мундир",
Но вечно жив жандармский клир).

6

И вот, пока кромсает выси
Заоблачные самолет,
Хуан задумался...В Тбилиси
(Куда летел он), что там ждет
Его?...Какие приключения?..
Допустим даже на мгновенье,
Прописку *выбьет* он...Потом
Хотя бы женится...Свой дом
Получит...У жены детишки
Пойдут...Он станет торговать
Листом лавровым. На сберкнижке
Накопит денег...Благодать!
Облюбовав мещанский рай,
Живи и денежки считай!

7

И это для него, пожалуй,
Есть оптимальный вариант.
В конце концов, смысленный малый
(А в сексе – подлинный талант!)
Имеет право быть везучим
Хотя бы там, где жизни кручи
Отнюдь не надо штурмовать,
Не надо ни на что дерзгать,
А надо, оседлав рассудок,
Смирить воинственную прыть,
И, сердце спрятавши в желудок,
Желудочно-спокойно жить.

Лавровый лист...Покой...Жена...
Нет *лавров* – но мошна полна.

8

А как же с дерзкими мечтами
Мятежной юности? Куда
Списать их?..Или спишут сами
Мечтанья те *не те* года?
Там детства золотая птица;
Здесь полужизнь – как половица.
Скрипучая; дремучий лязг
Мещанских склок, семейных дрязг,
Расчетов, подленьких привычек,
Желаний – ровно по плечу...
И жизни торс закутан в ситчик,
А он хотел ее – в парчу!
Увы! Где эта златоткань?..
Остались рубище и рвань.

9

Тоска убогая! Клеймется
На жизни тусклая печать...
И все-таки ему нейдет,
И все ж он хочет устоять.
...Но тяжело...В стране, отныне
Ему чужой, – как бы в пустыне,
Где он отыщет хоть на миг
Животрепещущий родник
Душевной чистоты, гражданства
Духовного, о чем мечтал
И грезил, веря в постоянство
Каких-то мировых начал,
Дел благородных, сил простых,
И принципов, почти святых?

10

Теперь он знал: не на России
Сошелся клином белый свет.
В России могут быть святые,
Но святости в России нет.
Весьма чувствительная школа
Полвекового произвола,
Интеллигенцию убив
И "пролетариев" растлив,
Сумела сделать из народа
Такую мерзостную рать,
Что лишь воскресшая Свобода
Могла бы ей противостоять.
Но Боже!..Как сумеем мы
К ней приобщиться в век тюрьмы?

11

Как обрести нам *душу нову*
 Среди опустошенных душ?
 Какому благостному зову
 Ответит вековая глушь?
 На всесоюзной этой плахе
 Все — жертвы: русские, казахи,
 Грузины...даже — черт возьми! —
 И те, кого считать людьми
 Порою трудно...Всех сравняла
 Полустолетием ночей
 Власть, у которой вечно мало
 И жертв, и даже палачей.
 Одним евреям повезло,
 Хоть все на них имеют зло.

12

Пожалуй, все-таки похоже,
 Что это — *избранный* народ.
 Их испытания без дрожи
 Едва ли кто и перечтет
 В истории...Но отстояли
 Они себя; родные дали
 Сумели отыскать...Сион
 Воскрес; еврейский небосклон,
 Звездой Давида озаренный,
 Им новый горизонт открыл.
 Израиль, силой утвержденных,
 Себя как сила утвердил.
 И современный иудей —
 Не Агасфер, а Маккавей.

13

Евреям есть куда стремиться,
 И, помня пращуров своих,
 Они уже не прячут лица
 Среди безликих и *других*.
 А именно к *другим* покруче
 В интернациональной куче
 Судьба относится...*Другим*
 Нет выхода к местам, родным
 По духу, а не по рождению,
 По праву выбора пути,
 По человеческому стремленью
Сион свободы обрести...
 Где Моисей? Где отчий край?
 Как отыскать им *свой* Синай?

14

Вопросы эти не под силу
 Решить поэту одному.

К тому же слишком стали милы
Евреи сердцу моему.
Пожалуй, мне припишут вскоре
Сверхстрасть к Талмуду или к Торе,
Иль скажут, что мой друг *коханый*
Какой-нибудь Меир Кахане.
Я в красноречии огнистом
Огнем поэзии зажжен.
Меня ж объявят *сионистом*,
Раз помянул я про Сион.
И как потом я докажу,
Что я Даяну не служу?

15

И от *Даяна* до *Хуана*
Я снова возвращаю круг
Рассказа моего упрямо,
Дабы мучительных потуг,
Контрастов и сопоставлений,
Тез, антитез и отступлений,
Преодолеть соблазны пик,
Который призрачно возник
Туманной, сказочной вершиной,
Куда мечтой мечты стремлюсь...
Хоть знаю...в бездну я сорвусь,
И не услышу пред кончиной
И отзвука мечты о том,
Что в сердце я носил своем.

16

Мечта и жизнь всегда в разладе,
Всегда вы загнаны в тупик.
Здесь ты дерешься "правды ради",
А там — глядишь! — и сдался вмиг.
Что б ни доказывали рьяно
Сартр, Кроче, Ясперс, Аббаньяно,
Как ни крути и ни верти,
Проблема "выбора пути" —
Неразрешимая дилемма,
Пока в душе довлеет страх,
Пока от Ромула и Рема
Рим костенеет на костях,
Пока еще неугасим
Костер из книг и Хиросим.

17

О цветомузыке когда-то
Мечтал отец несчастный мой,
Чтоб вихрем огненным объята,
Вздымалась звукопись волной,
Мажорно-красным пламенея,

Минорно-томным зеленея,
Слив *жизни* звук и цвет *мечты*
В одном разливе Красоты...
Не удалась его попытка
Настройки цветозвучных лир.
Стезя гармонии избытка
В негармоничный этот мир
До времени привнесена,
Ему чужда и ненужна.

18

Так и в политике...Синхронны,
Созвучны в ней лишь силы зла,
Лишь атомных угроз циклоны,
Лишь нарастающая мгла.
А что до света...На Востоке
Погашены его истоки,
И только с Запада порой,
Сверкнув спасительной зарей,
Исходит светооткровенье
Напоминанием о том,
Что в демократии – спасенье,
Без демократии – умрем!
Не дай Америка пример,
И был бы мир наш тускл и сер.

19

Америка! Вселенским ритмом
Царишь ты в ритмах наших дней.
Тебя не зря воспел Уитмэн
И прославлял Хемингуэй.
Не зря событийная лента
Тебе послала президента –
Бостонца мудрого...Он жил,
Чтоб вдохновлять...И вдохновил
Народы мира...Предлагая
Не цезаризма идеал,
Не призрак мирового рая,
А мудрость вековых начал.
Их воплощенье – смысл надежд,
Простертых рук, открытых вежд.

20

Когда убийц наемных пули
На "профиль мужества" легли,
Они не только зачеркнули
Жизнь Кеннеди...Они могли
Перечеркнуть *смысл жизни* в бреде
Все нарастающих трагедий
(К тому ж отель "Амбассадор"
Удвоил даллаский позор...)

И чтоб победою согреться,
Как прежде, кеннедизм любя,
Сенатор из Массачусетса,
Одна надежда на тебя!
Твой путь смыкает их пути,
Твой Дух — их души во плоти!

21

О Боже! Как предельно нужен
Сознанию нашему кумир!
Как страшно без него недужен
Политиканствующий мир!
Не культ, безумный и кровавый,
А имя — с честью и со славой
(Пусть даже слава на момент
Предстанет отблеском легенд —
Неважно...Я скажу без дрожи
То, что давно известно нам:
*"Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман".*)
А если и обмана нет,
То, значит, трижды прав поэт.

22

В наш век Америка по праву
Как демократии оплот
Хранит немеркнущую славу
Мир вдохновляющих свобод.
В России головы рубили,
А здесь голосовали "билли",
И даже в сумерках времен
Всегда царил один Закон —
Народоправства...Как бы сложно
Событья здесь ни шли подчас,
Но не признать нам невозможно,
Что шли получше, чем у нас.
Нельзя историю забыть,
Нельзя свободу не любить!

23

И мой Хуан в свободе славной
Такой же видел идеал,
Какой еще совсем недавно
Он лишь в одной любви искал.
В свободу духа погруженность
Нежней, чем сладкая влюбленность,
Ласкает мысль...И в ласке той
Так гармоничен рай и рой
Видений, грезовых сплетений,
Преодолений внешних вех,
Что самых грешных вдохновений

Здесь грех волнующий — не грех.
А если ты и жил, греша,
Твой адвокат — твоя душа.

24

И вот в салоне самолета,
В котором он на юг летел,
Хуан, листая "Дон-Кихота",
На стюардессу не глядел.
И не глядел по сторонам он,
Пока событием неожиданным
Захвачен не был...Рядом с ним
Вдруг встал какой-то гражданин
И объявил, перекрывая
Моторов надоевший гул,
Что самолет, путь продолжая,
Свой курс меняет...на Стамбул,
Что экипаж взят под арест,
Чтоб все не покидали мест.

25

И тотчас же в проходе встали
Три человека. Два из них
По пистолету показали
Тому, кто сразу не притих,
И попросили, чтоб спокоен
Был каждый...Если недоволен
Кто-либо тем, что за кордон
Его везут, — вернуться он
Из Турции спокойно сможет
На родину свою назад,
И так как он не виноват,
То совесть пусть его не гложет:
Его за "верность", может быть,
В "Союзе" смогут наградить.

26

Хуан ушам своим не верил,
Глазам не верил мой Хуан..
Что значат прошлого потери,
Когда волшебный случай дан
Судьбой изменчивой?..Его ли,
Давно мечтавшего о воле,
Столь смехотворно "в плен" берут
И за границу повезут
Как бы насильно?..Вот что значит
Везенье редкое!.. — Но вдруг...
(Мелькнула мысль). — Вдруг неудача...
Заставят сесть. Сожмут вокруг
С десяток "МИГов"...И — хана!..
Решетка снова суждена.

27

И потому, в душе ликуя,
 Хуан, надменный вид приняв,
 Проговорил: "Я протестую!
 Все это — нарушение прав,
 Кошунство, даже... святотатство,
 И вопиющее пиратство.
 Я к туркам ехать не хочу,
 Но раз я пленник, то — молчу!"
 —И помолчите, мальчик милый, —
 Сказал ему один "пират", —
 Мы ж обещали, что назад
 Вернем — держать не станем силой...
 Уж раз ты "преданный" такой —
 Тебя не заберем с собой.

28

Продемонстрировав "лояльность",
 Хуан — как в рот воды набрал.
 В уме прикидывал он дальность
 Полета; скорость подсчитал;
 О непредвиденной посадке
 Подумал... Но пока в порядке
 Все шло: без драм кровавых... без
 Почивших в Бозе стюардесс,
 Без выстрелов, без столкновенья,
 Ну, словом, гладко, без препон,
 Ведь, собственно, "*взрыв возмущенья*"
 Продемонстрировал лишь он
 (В душе, конечно, всех сильней
 Мечтая: "В Турцию, скорей!")

29

И вот — посадка!.. Миг желанный!..
 "ТУ-104" взят в кольцо
 Машин с полицией... Дурманный
 Стамбульский ветер бьет в лицо,
 Бьет, так же горячо неистов,
 Как и горячка журналистов,
 Которые кругом спуют,
 Фотографируют, бегут...
 А к ним четыре пассажира,
 Тех самых, захвативших "ТУ",
 Как вестники иного мира,
 Смеясь, идут через толпу.
 Идут, свободу получив,
 Мечту свою осуществив.

30

А что ж Хуан? — Ужель он с теми,
 Кто к самолету жметяся?.. — Он

Как будто даже тянет время
И, кажется, слегка смущен...
Но чем же?..Все сейчас решится –
И перевернута страница
Той жизни, где Хуан обрел
Лишь пирамиду бед и зол.
Чего ж он медлит?..Испытуя
Столь поворотной-яркий миг,
Чего еще он ждет, рискуя
Утратить то, чего достиг?
Иль недостаточно Судьбой
Был испытуем наш герой?

31

И, тень сомнений отторгая,
Хуан кидается вослед
Тем четырем...Путь избирая,
Откуда отступленья нет.
В кругу лихих сенсаций снова
Еще сенсация готова.
И первыми изумлены
Хуана спутники... –Должны
Как понимать мы ваш поступок? –
Спросил его один "пират". –
Вы с нами? – Bravo!.. – Кроме шуток,
Признаться, юноша, я рад.
Хуан ответил твердо: "Да!
Теперь я с вами, господа!"

32

И – началось!..Сперва недели
Банкетов, выступлений, встреч,
Телепрограмм...Как в карусели,
Он кружится...Здесь скажет речь,
Здесь представляется кому-то,
Здесь – если выпадет минута
Свободная – спешит в отель
И – изможденный – на постель!..
Уже не рамками Стамбула
Известность их ограждена:
Волну сенсации раздула
Печать и радиоволна,
Да так, что вскоре мой герой
Купался в славе мировой.

33

Ну, а потом и протрезвенье
Пришло к нему...Как дальше жить?..
Не вечно же сенсаций тенью
Он будет публике кадить!
Кем станет мой Хуан? – Пижоном?

Кинозвездой? Ален Дэлэном?
Познает ли любовь опять
В избытке?.. Или устоять
Против ее дурмана сможет?
В чем смысл отыщет для себя?
Срок юности на скорби прожит —
Ужель и дальше жить, скорбя?
Он получил свободу... Где ж
Для жизни новый сверхрубеж?

34

Увы! Вопросы легче ставить,
Чем на вопросы отвечать.
Ответами звучат всегда ведь
Дела; а где нам отыскать
Деянья — смелые, благие,
В злой жизни, разумом не злые,
Способные создать альков
Красивых дел — не красных слов?
Кто нам подскажет, кроме Бога:
Вот *это* сделай; это — прочь!..
Жаль, дел у Бога слишком много,
Чтоб он всегда нам мог помочь.
И потому: *Дух* — небесам!
А о *Душе* заботься сам!

35

Закатный луч блеснул над садом
Цветов фантазии моей.
И, осенен прощанья взглядом,
Звучит насадней, тяжелей
Мой голос... Это испытанье
(То-бишь, мое повествованье)
Его скрутило, напрягло...
До хрипа обличал я зло,
И, хрипотою награжденный,
Теперь смертельно я устал...
Зла не разбил я пьедестал,
А сам разбит я, побежденный.
Я задыхаюсь... И боюсь,
Что вскоре вовсе задохнусь.

36

К закату движется поэма,
Закатно гаснет светолуч.
И вот передо мной проблема:
Что делать дальше?.. Хоть могуч
Сюжетный стимул; хоть он в силе
Еще стихов осилить мили
И штурмовать лобой Парнас,
Но все же прежний пыл погас.

Теперь, сказав о самом главном,
О самом нужном для меня,
Хочу расстаться с Дон Жуаном,
К иному берегу клоня
Свой парус... Мне другой маяк
Лучом приветным подал знак.

37

Я уступаю вдохновенью
Необратимых перемен,
Я нанюшу палитру тленью
На грустного сознания тлен.
И в серебристо-звездном свете
Лечу мечтой к иной планете.
Хочу я в *Мир-Наоборот*,
Мир без страданий и забот,
Мир без проклятий и заклятий,
Без крови, слез и смертных плах;
Без человеческих распятий
На человеческих костях.
О этот мир! Творю его
Мечтой своей из Ничего.

38

"Ничто" — единственное слово,
В котором "Нечто" может быть.
Но как *Великого Немого*
Заставлю я заговорить?
Родился ли на свет философ,
Познавший смысл больших вопросов
О тайном смысле Бытия?..
Во всяком случае, не я —
Философ тот... — И не пытаюсь
Я необъятное объять.
Я лишь рифмованную завязь
Стихов хотел бы сочетать
С расцветом символов. В цвету
Их отблесков, я Бога чту.

39

Божественного Откровенья
Нам не дано постигнуть суть.
Но, может быть, хоть на мгновенье
Когда-нибудь и где-нибудь
Трансцендентальная зарница
Блеснет, как огненная птица,
Как птица-феникс... И тогда
Во мгле засветится звезда,
В душе затеплится желанье,
В безверьи Вера прорастет.
И если не блаженства плод,

То плод блаженного познания
Я обрету. И вместе с тем
Открою для себя Эдем.

40

Пока ж в душе не вспыхнет сполох
Зарей преобразенных дней,
Лишь *Государства* мрачный Молох
Убийственно царит над ней.
Она мятется, ищет, стонет;
Он душу давит, долу клонит.
Она — снов призрачных метель;
Он — явь. — Неравная дуэль
Цветка и тяжести гранита,
Лазури с бурей огневой —
Как сплав покоя монолита
И вызова на вечный бой.
(Пусть этот бой нам снится даже —
Реальна гибельность миража).

41

Миражность Сущего, Былого,
И неисчетность тусклых лет.
Обман Грядущего-Земного,
Неверность неземных примет...
Все подавляет, все отчайт...
Звучит, подобный крику чаек
На отдаленном берегу,
В преддверьи бури: "Не могу!
Нельзя! Не в силах!" — Исступленный,
Гортанно-изможденный крик
Души, когда-то вдохновленной
И обновлявшейся на миг...
Миг был подарком Божества,
И все-таки душа мертва.

42

Сознания нашего глубины
Хранят глубинный Абсолют,
Как будто голубые льдины
По зелени морей плывут.
Плывут и тают... Их движенье,
Их умиранье, растворенье
В пучине — символ жизни всей:
Ее высот, ее зыбей.
А дальше Смерть — с ее причалом
И меркнувшим в зыбях венцом,
С ее таинственным Концом
Или божественным Началом.
О! Трижды прав был Кальдерон,
Заметивший: "Жизнь — это сон".

43

Но к черту сны!..Скорей очнемся,
 Уйдя от философских тем!
 Опять к политике вернемся —
 Ее забыли мы совсем.
 Романа нашего сюжетность
 Столь многолика: здесь памфлетность
 С элегией сопряжена,
 И тут же преображена
 В игривость легких описаний,
 Где лирики любовной прядь
 Ложится париком мечтаний
 На "Философскую тетрадь".
 (Какой шикарный натюрморт:
 Парик, тетради, Бог и Чорт!)

44

Жаль, что художник не найдется
 Изобразить его слепца.
 Испить из этого колодца,
 Как из Кастальского ключа,
 Придется мне...Мне, рифмоплету,
 Платить — и по большому счету
 Всем вдохновителям моим
 Из классиков...(Да и другим —
Врагам классическим)...Предвижу,
 Как обвинять начнут меня:
 "Мол, я Россию ненавижу,
 Судьбу "рассейску" кляня,
 Мол, я — предатель, ренегат
 (Не столько "рене", сколько "гад")."

45

—Мол, у меня в Нью-Йоркском банке
 Есть счет на целый миллион,
 Что я давно продался янки
 И, в общем-то, почти "шпион".
 Я зяню: бешенством всклокочет
 Какой-нибудь партийный кочет,
 И "кочетовцев" дикий вой
 Всхлестнется бурей надо мной.
 И повезут меня в теплушке
 Туда, куда уж раз везли,
 За то, что я — совсем, как Пушкин, —
 Родился на берегах земли,
 Где вечно горизонт угрюм
 Для тех, в ком есть "талант и ум".

46

Итак, прощай, мой друг-читатель!
 Спасибо за вниманья преть.

Храни тебя Господь-Создатель,
Как может только он хранить!
Тебя я знаю и не знаю,
И все ж за то благословляю,
Что ты, стихи мои прочтя,
Возможно, думаешь, шутя:
"Спасибо, автор, что потешил,
За то, что интересен был,
Когда, сверля сюжета бреши,
Хоть и блажил, но не брешил."
И в этом ты, читатель, прав:
Жить без брехни — таков мой нрав.

47

Конечно, все грешны, наверно,
И я, понятно, не святой.
Бывало, в прошлом "звук неверный"
Исторгнут был моей судьбой.
И я был слаб, как слабы все мы,
Когда "жизетские" проблемы
Готов был с ходу предпочесть
Тем, в коих скрыты Долг и Честь.
Когда меня они скрутили,
И я уже едва дышал
("Как лошадь загнанная в мыле", —
Как бы Есенин здесь сказал...
Поэт всегда поэту рад
Подкинуть парочку цитат.)

48

Зато тепер я расплатился,
Что называется, сполна.
Я не вполне преобразился,
Но это не моя вина.
Могу я в чем-то ошибаться,
Кого-то зря поставить в святцы,
Но отрицание мое
Теперь — точнейшее копьё.
И пусть в трясине катаклизма
Мир погружается во тьму,
Ложь и безумье коммунизма
Ясны сознанию моему.
Спасенье в Боге! Только в нем!
И мы спасенье обретем.

49

А что до моего романа,
То он окончился уже.
Я оставляю Дон Жуана
На переходнейшей меже.
Порой я был весьма фриволен,

Лишь потому, что подневолен
Был...И проекция на секс —
Ответ, реакция, рефлекс
На скованность и запрещенность
Моих и Дон Жуана лет,
На Интуиции огромность
И Подсознания просвет.
(Как Разумом ни дорожу,
Я *им* охотнее служу).

50

Прощай же, мой герой!..С тобою
Мы долго шли и — разошлись...
Воздушно-голубой стезею
Ты — призрак! — воспаряешь ввысь.
Да примет Дух твой ТОТ, кем создан
Весь мир, кто познан и не познан.
К стопам Вселенского Отца
Да низвергаются сердца!..
А я, не зная, дни иль годы
Еще осталось мне прожить,
Хочу одно — хочу Свободы
И Веры символ воскресить.
Чтоб жил — прекрасен и могуч! —
Мой стих, как Откровенья луч.

* * *

1957 г. — 1969-71 гг.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Есть в жизни моменты, когда соединение с Неведомым становится соединением с Божеством. Эти моменты нельзя ни объяснить, ни выразить словами; они — молчаливы.

Но музыка живет в них — та музыка, которую поэт должен воплотить в Слове, и слова приходят сами собой; они повелевают, диктуют, отрывают от повседневности, возвышают над ней. Горячка поэтического бреда становится огнем жизни. В этом огне можно сгореть, поскольку из него, как из ядерной плазмы, созидаются солнца. Недаром же Аполлон был солнечным богом.

Я не знал, почему я пишу этот роман; я писал его под диктовку Кого-то, кто нашептывал мне эти строфы — именно нашептывал. Я — абсолютно трезвый, склонный к рассудочности человек, становился экзальтированным мистиком, когда слышал тихий, но властный голос, диктующий мне. Мои черновики испещрены пометками, но душевная настроенность на волну Лирического Шепота была чистейшей.

Своего "Дон Жуана" я начал писать в 1957 году, когда находился в советской политической тюрьме и когда абсолютно не представлял себе, что должно выйти из отрывочных строк, возникавших в сознании. Я не знал ни своего будущего героя, ни, разумеется, сюжетной линии романа, и когда много лет спустя во мне вновь зазвучал *Шепот*, я понял, что это голос чего-то, абсолютно необходимого быть выраженным в Слове. Не побывав в тюрьме, я *не смог бы* написать "Дон Жуана"; побывав в ней, я *не мог не написать* его.

"Дон Жуан" — это все, что угодно, но за всем этим — мой Крик. Я кричу и перекликаюсь с Прошлым; проклинаю Настоящее; заклинаю Будущее. Я верю, что мне помогал Бог (как это ни сильно звучит, я не могу сказать иначе). Но одновременно меня вдохновляли, поскольку этот роман является политическим и эстетическим протестом против мира Зла, — образы людей, которые своей жизнью и деятельностью дают мне (да и многим другим, вероятно) Образцы-стимулы жизни. Им, этим людям, я бы и хотел посвятить своего "Дон Жуана", прося извинить внешнее легкомыслие сюжетной линии и отдельных бравад. Видит Бог, *фривольностью* я не оскорбил *Вольность*; своей *ироничностью* не скомпрометировал *героичность*, а "горе от ума" невольно воплощается в печальном смехе, который, говоря словами Жюлья Ренара, есть не что иное, как "клоун в черной одежде". Ирония же — опять-таки по словам Ренара, — это "стыдливость человечества".

Итак, мысленно я посвящаю свой роман:

1. Сенатору ЭДВАРДУ КЕННЕДИ как представителю семьи, члены которой дали миру пример олицетворения в политике начал личного Мужества, высшего разума и героической стойкости Духа.

2. МИЛОВАНУ ДЖИЛАСУ, чья интеллектуальная честность возвысила его над переходящими соображениями политической игры и вдохновила на исключительное по силе анализа обличение социального зла, загромиро-

ванного под перспективу человеческого Будущего.

3. АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ, чья Вера, Мысль и Совесть помогают преодолеть страх и обрести достоинство свободного человека любого труженнику пера.

4. Памяти моего отца, художника ГРИГОРИЯ ГИДОНИ — одного из первых создателей цветомузыки, жертвы сталинского произвола.

1971 г.

ОТ РЕДАКЦИИ.

"Современник" обычно отводит стихотворному материалу ограниченное количество страниц. В этом номере Редакция в виде исключения публикует полностью роман в стихах Александра Гидони "Дон Жуан", учитывая, помимо его литературной и общественно-политической значимости, драматичность ситуации, предшествовавшей его появлению на Западе.

В 1973 году жена автора Галина Румянцева, уезжая в судьбоносную для нее и всей ее семьи туристическую поездку в Италию, тайно вывезла рукопись "Дон Жуана" (вопреки даже запрету самого автора, не желавшего подвергать ее двойному риску, она мелким почерком вписала весь текст романа в записную книжку для адресов). Страницу этой записной книжки мы здесь воспроизводим.

В Италии ей удалось обмануть бдительность "нянек"; без вещей, только с маленькой сумочкой для документов, в которой была и драгоценная рукопись, она сбежала от группы, попросила политическое убежище в Италии и через год переехала в Канаду.

Редакции известны все этапы этой необыкновенно драматической истории, включая и подробности воссоединения семьи Гидони в Торонто.

* * *

ГУБЕРТ В СТРАНЕ "ЧУДЕС".

Место действия: Берлин — Москва — Сочи — Иерусалим.

Время действия: Апрель 1932 г. — Апрель 1975 г.

В это яркое солнечное апрельское утро тысячи туристов жадно осматривали достопримечательности седого Иерусалима.

Яд Вашем.

Элегантный автобус привез большую группу немцев. Первой сходит женщина в черном одеянии. Ей помогают отнести огромный венок из черных роз — подарок голландских друзей. Женщина безмолвно плачет. Никто не решается нарушить эти святые минуты...

Гертруде Шеллер скоро исполнится восемьдесят лет. Она родилась в Дрездене. Там прошли годы молодости. Там навсегда простилась с мужем, который погиб в застенках Моабита. Теперь Гертруда живет в Гамбурге. Несколько месяцев она ежегодно проводит в Израиле.

— Мой внук собирается навсегда поселиться в Иерусалиме, — говорит Гертруда, — если это произойдет, я буду счастливым человеком. Мы — немцы, виноваты в трагедии еврейского народа. Боль трагедии на своих плечах будут нести многие поколения...

1.

1932 год.

Молодой журналист, корреспондент газеты "Правда" Михаил Кольцов выехал в командировку в Германию. В одном из предместий Берлина он обратил внимание на пионера Губерта, который все время вертелся около него. Мальчик был одержим советской Россией.

Кольцов полетел в Дрезден. Губерт думал, что русский писатель возвращается в Москву. Ему удалось спрятаться в самолете, в котором он и переночевал. Мальчишку случайно обнаружил летчик.

Гидом и переводчицей Кольцова в Германии была немецкая журналистка, коммунист Мария Остен. Мальчик полетел с ними. После трехнедельного пребывания в Германии Кольцов собрался в Москву. Губерт умолял журналиста взять его с собой. ЦК ВКП(б) дало свое согласие.

В Москве, на Белорусском вокзале, Губерта торжественно встретили пионеры и школьники столицы, репортеры "Пионерской правды", работники ЦК ВЛКСМ, сотрудники "Известий" и "Комсомольской правды", радио, представители общественности.

Немецкого пионера определили в самую лучшую, показательную школу, где учились дети членов правительства. О нем делались восторженные передачи по радио, с ним устраивались встречи в школах,

детских домах, на фабриках и заводах, в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро. Губерта всюду сопровождала Мария Остен.

В Московском городском Доме пионеров на улице Стопани открылась фотовыставка Остен "Немецкий пионер Губерт в стране чудес". Под таким же названием вышла ее книга "Дела и дни немецкого пионера" с предисловием Георгия Димитрова. Это был специальный номер журнала "Огонек", редактором которого был Михаил Ефимович Кольцов.

Летом Губерт отдыхал на Черном море. В закрытый пионерский лагерь приехали Сталин, Молотов, Калинин, Орджоникидзе. Вожди ласково беседовали с немецким пионером. Поэты посвящали Губерту стихотворения. Кинохроника сняла специальный номер киножурнала. Лев Кассиль задумал документальную повесть, Семен Кирсанов собирал материал для большой поэмы, Безыменский работал над циклом "остро-партийных" стихотворений, кинорежиссер Легошин писал сценарий полнометражного художественного фильма.

2.

Прошли годы.

Михаил Кольцов полтора года пробыл в Испании. После возвращения его назначили заместителем главного редактора газеты "Правда". Он курировал международный отдел, был председателем иностранной комиссии Союза писателей, руководителем журнально-газетного объединения, редактором "Огонька", членом редколлегии журналов "Крокодил" и "За рубежом". В 1938 году он стал членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Его избрали в депутаты Верховного Совета РСФСР.

В декабре Кольцова арестовали в помещении редакции. Когда ответственный секретарь сообщил об этом по телефону Молотову, тот сказал: "Мы не станем вмешиваться в дела органов. Они знают, что делают, кого и за что наказывают."

3.

Из Германии прилетела Мария Остен. Она стала хлопотать. В НКВД и в народном комиссариате иностранных дел ей посоветовали добиться советского гражданства.

— Пусть кто-либо из ваших знакомых даст рекомендацию. За нами дело не станет.

Мария Остен обратилась к брату Михаила Кольцова, известному художнику-карикуристу Борису Ефимову. Его заявление-ходатайство заверили подписями и печатями в творческих союзах. После долгих мытарств Остен, наконец, получила долгожданное гражданство. В Главном Управлении милиции ее поздравили с "вступлением в новую" жизнь.

Через месяц Марию Остен арестовали на Центральном рынке.

Семь месяцев советскую гражданку, бывшую немецкую коммунистку, продержали в камере смертников.

Затем последовала та же участь, что и у Кольцова.

РАСС'ТРЕЛ...

4.

1956 год.

Москва.

У художника Бориса Ефимова я беру интервью для "Московской правды" и Всесоюзного радио.

В гостиной, словно солдаты на плацу, выстроились громоздкие серванты, в которых красуется хрусталь, старомодный фарфор, сервизы обеденные, чайные, кофейные; фамильная посуда. На изящном с выгнутыми ножками, декоративном столике — фрукты, конфеты, пирожные.

В разгар беседы кто-то постучал. Жена Ефимова открыла двери. В их элегантную квартиру вошел, переминаясь с ноги на ногу, седой, широкоплечий человек. Вместо правой руки — пустой рукав. Пугливо озираясь по сторонам, за его спиной прячется худенькая, поблекшая безволосая женщина.

—Дядя Боря, здравствуйте! Вы меня узнали? Вспомнили? Я Губерт! А где дядя Миша? Ваш брат, журналист из "Правды" и "Огонька", Михаил Ефимович Кольцов? Как здоровье тети Марии Остен? Она стала женой Кольцова? Ведь он тогда хотел разойтись...

Несмотря на пережитое, Губерт остался большим, наивным, неуклюжим ребенком.

—Скажи лучше, где ты столько времени изволил пропадать? — спросил знаменитый художник.

—Меня судила тройка. Неужели не слышали? Следовательно возился больше года. Он и про вас спрашивал. Часто били. Однажды дал сдачи. Посадили в холодную, сырую одиночку. Там бы и сгнил в подземелье, если бы не куриная слепота. Нахлебников им и так хватает. Дармовая рабочая сила всегда ведь нужна.

Ефимов внимательно слушал. Настойчиво звонил телефон. Модный художник попросил жену всем говорить, что его нет дома.

Губерт неторопливо продолжал:

"Получил десятилетний срок. Работал на Севере, в лесных лагерях. Дядя Боря, вы знаете, что такое лесоповал?"

Поежившись, Борис Ефимов вздрогнул. Он то и дело смотрел на золотые часы: боялся, что незваных гостей придется оставить ночевать, давать чистое белье, готовить ванну, ужин, и что завтрашний, воскресный день наверняка будет испорчен, а они приглашены к друзьям играть в бридж.

Из-за отсутствия должного воспитания Губерт, конечно, не понял тонких намеков и уничтожающих семейных взглядов. Может быть, впервые за многие годы ему захотелось выговориться, открыть ду-

шу единственным знакомым, оставшимся в живых.

—Лесоповал, — сказал Губерт, — трудное дело. В сорок семь градусов мороза приходилось вырубать лес, выкорчевывать пни. Рукавиц у нас не было, руки обматывали в тряпки. Орудовали ржавым, негодным инструментом. Когда до окончания срока осталось девять месяцев, лагерный кум, оперуполномоченный Никита Бандура благословил меня еще на восемь лет. Присобачил антисоветский анекдот. Я отсидел восемнадцать календарных лет. На одиннадцатом году в лагерной больнице заключенный, профессор-хирург Идельсон оттяпал правую руку. Я ее отморозил. Началась гангрена. Хотите покажу? — Борис Ефимов и его жена поморщились. — Научился писать левой рукой. Там за проволокой, в зоне, познакомился с хорошей женщиной, единоверкой Мартой. Она когда-то с родителями жила в Маркштадте. По указанию Сталина, Молотова, Берии немцев Поволжья переселили в лагеря и тюрьмы, многих расстреляли, а некоторых — я не знаю, сколько тысяч, — отправили в Сибирь, на Алтай, в Якутию. Марта отсидела четырнадцать лет. Ее родителей и братьев казнили во дворе Саратовской тюрьмы. Мы решили пожениться и уехать в Германию к моей маме. Знаете, мама Гертруда нашла меня через Международный Красный Крест. Письма посылала, посылками поддерживала. Вот ее фотография...Мама зовет к себе. — Губерт застенчиво улыбнулся. — Дядя Боря, а вы не забыли про книжку тети Марии? Там про меня было написано, я даже название запомнил: "Губерт в стране чудес". Эту книгу я обещал показать Марте.

С необыкновенной нежностью он посмотрел на свою возлюбленную.

Борис Ефимов вздрогнул. Конечно, этой крамольной книги у него давно уже нет. Сразу же после ареста брата и Марии Остен он уничтожил все компрометирующие материалы. Художник всегда умел "смотреть в корень" и "видеть по существу", умел приспособливаться к самым сложным ситуациям. Своего мнения Ефимов не имел, о принципиальности не помышлял. Он рисовал грубые шаржи на Трумена, Тито, Франко, Сартра, де Голля, Эптона Синклера, Фейхтвангера, Даяна, Голду Меир, Андре Жида.

Из задумчивости Ефимова вывел голос неугомонного Губерта: "Дядя Боря, помогите нам с Мартой пожениться, поскорей оформить документы на выезд в Германию. После свадьбы мы обязательно пришем вам наши фотографии."

5.

Кольцова посмертно реабилитировали. Ефимов вместе с вдовой брата начал готовить к печати трехтомник его избранных произведений.

Борис Ефимов испугался незванного гостя. Он понимал, что в Западной Германии Губерт где-то может упомянуть его безупречное имя, и тогда прощай полноводная жизнь!

—Этого идиота нельзя выпускать из Советского Союза в фашист-

скую Германию, — сказал художник жене после того, как утомленный Губерт пошел принимать ванну.

Ефимов поехал к секретарю ЦК КПСС Михаилу Сулову. Он рассказал ему подробно историю Губерта. Марту и Губерта пригласили на беседу, которая проходила "в непринужденной, дружеской обстановке". Подавалось кофе с лимоном, бутерброды, крымское сухое вино. Губерта спросили, чего он хочет.

—Я полюбил женщину, мы хотим пожениться и уехать к маме, в Германию.

Три часа дяди и тети из ЦК КПСС уговаривали упрямого Губерта не ехать в ФРГ, а навсегда остаться в Союзе Советских Социалистических Республик. Губерт вышел из себя. Повысил голос. Начал кричать. Сказал, что восемнадцать лет был каторжанином, что на лесоповале потерял правую руку, а теперь хочет вернуться на землю, где родился. Товарищи из ЦК оказались похитрее инвалида-каторжанина. По телефону они заказали Гамбург. Маму Губерта пригласили посетить СССР за счет советского государства и повидаться с сыном. Немцу предложили смириться.

Теперь он твердо знал, что его не выпустят живым, и что свою Мечту о свободной Земле он навсегда может похоронить в своем сердце.

Губерт и Марта поселились в Сочи. Им предоставили крохотную квартирку из двух крошечных смежных комнат. Дали работу садовника. Как инвалиду "труда" назначили скромную пенсию. Мама Губерта пробыла в СССР шесть месяцев. Ее одарили ценными подарками и предложили переехать в Россию. Гертруда Шеллер отказалась.

Через два года она снова приехала в Сочи — на похороны сына, который, по словам врачей, умер от рака.

6.

Гертруда буквально грызла стены, чтобы вырвать Марту и внука Фердинанда из-под опеки советской власти. Она боялась, что судьба внука может стать такой же трагической, как и его родителей.

Марта живет в одном доме с Гертрудой. Фердинанд изучает иврит.

Прощаясь, бабушка Гертруда сказала:

"БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ВТОРАЯ ЧАСТЬ КНИГИ "ГУБЕРТ В СТРАНЕ "ЧУДЕС" НЕПРЕМЕННО БУДЕТ НАПИСАНА И НЕ ОДНИМ АВТОРОМ, А ТЫСЯЧНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ СОВЕТСКИХ КАТОРЖАН И НЕПРЕМЕННО РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ".

Права Гертруда Шеллер, такая КНИГА необходима миру, особенно сегодня.

* * *

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

На меня с недавних пор
Путеводная звезда
Смотрит пристально в упор,
Мне указывая путь
Где пройти, куда свернуть:
— Не туда, а вот сюда,
И поосторожней будь!

Я теперь совсем другая —
Словно дуновенье мая
Всю меня преобразило.
Даже то, что скучно было,
Стало весело и мило,
Огорчений прежних лет
Вовсе и в помине нет.
Мир пленителен и нов,
Я отлично в нем живу,
И почти совсем готова
В книгу жизни и стихов
Новую вписать главу,
К ней прибавив "рыбье слово".

* * *

АНДРЕЙ ДРУЖИНИН

Я уйду за Гумилевым...
Скоро выпадут снега.
Лягут саваном-покровом
на леса и на луга.
Снег застынет горькой ватой
в горле...

Тихо вспомяну
свой единственный,
проклятый
спуск в большую глубину.
Спуск, которого хотелось
каждый миг и каждый час;
о котором столько пелось
и не спето столько раз!
Нити жизни ткали, ткали
радугой в святую грусть...
Растоптали,

расстреляли...
Ну и что же?..

Ну и пусть!..
После смерти как всплакнется,
как аукнется сполна.
И к тебе оно прибьется —
горюшко,

моя страна!
В смраде ты лежишь и тлеешь,
предназначенная тлеть.
Ты поэтов не жалеешь,
так тебя ли мне жалеть?
Прокляну единым словом,
если слово то найду...
И уйду за Гумилевым,
в Беспредельное
уйду.

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ: В этом году исполняется 90 лет со дня рождения и 55 лет с момента злодейского убийства большевиками великого русского поэта Николая Степановича Гумилева. Мы публикуем посвященное ему стихотворение одного из русских политэмигрантов.

ЭЛЛА БОБРОВА

ИРИНЕ ОДОЕВЦЕВОЙ.

Предо мной необычный портрет
в светящейся "лунной" раме.
Акварелью?

Маслом?

О, нет!

Написал свой портрет
кистью слова поэт;
ну, а я (вдруг у вас его нет?..)
опишу его здесь стихами.

Полотно соткано:
из улыбок,

раскаянья,

воли к жизни,

отчаянья,

с редкой нитью воспоминанья,
без единой — унынья.

Мне не счесть на портрете красок,
тонкой кистью начертанных масок...

Вот глаза голубые:
то кокетливые,

живые,

то вдруг темные, грустью залитые,
горем убитые.

Но всегда умно-добрые,
звездо-подобные;

лишь порой —

гневно-гордые...

"Искрометен" в портрете смех
и невинно-беспечен грех.

Своенравная мысль-царица:
лунной нитью засеребрится
и... спешит в легкой шутке

скрыться:

*"Во всем виноват верблюд.
Отдать верблюда под суд!"*

А каноны,
предначертанные законы —
для других!
Вольным-волен в "Портрете" стих.
Разностопны ямбы?

 Так что же?
Краски радуги — в слово!
Оно все может:

*"В лунном свете блекнет повлика,
В лунатичности серебряного блика
Воскрешает призрачно и дико
Прошное на новый лад..."*

Вы осудите: много цитат...
Каждый стих здесь — оттенок цвета;
И, читая, я вижу поэта
на "Портрете":
Грусть и радость
 живут в нем, как сестры,
рядом;
а слеза дуновенью веселья рада:

*"Как мне грустно, Как весело мне!
Я левкоем цвету на окне,
Я стекаю дождем по стеклу,
Колыхаюсь тенью в углу..."*

Светлой верностью дружба озарена;
а любовь
сердцем-памятью сохранена.
Чувствую молодость в новом "Портрете".
Осень? Нет, только позднее лето.
Я нового века вижу черты
в лице зрелой "невской" красоты:

*"Лейте, лейте, херувимы,
Как на розы Хиросимы
Райский ужас между слов!..."*

В "Портрете" — ни Пиринеев, ни Сены.
Есть свет петербургских
 ночей весенних...

Торонто, 29 февраля 1976 г.

А.ШИМАНСКАЯ

1.

Не все ль равно, какие слезы, —
У каждого своя печаль.
Вот снова отцветают розы
И жизни розовой мне жаль.

Пусть коротка, — она прекрасна
Благоуханьем, чистотой.
На гибель смотрим безучастно, —
Подумаешь, цветок простой!

А я с любовью подбираю
Опавший бледный лепесток.
Как будто украшеньем рая
Был этот розовый цветок.

2.

Деревья спят. Какая радость.
Опять мои друзья со мной.
Ведь это далеко не малость:
Глядеть на сад, — пусть он чужой.

Глядеть из своего окошка
И поутру и в час любви.
Влетела крохотная мошка —
Какое чудо быть такой!

Цветочек распустился красный,
Он дышит, светит, он живой.
И только человек напрасно
И неуклюжий и большой.

3.

В окно стремительно влетела муха,
Со мной осталась ночевать —
Металась, дребезжала, как старуха,
Мне долго не давала спать.

Она большая, ей нужна свобода,
В саду и воздух и простор,
Ей безразлична даже непогода,
Но страшен плен тяжелых штор.

На утро вырвалась и просияла,
Блеснула точкой золотой.
Я эту гостью с грустью провожала —
И стала комната пустой.

* * *

ЮЛИЯ МАЛИНОВСКАЯ

Размахнувшись, ветер горсть дождинок
Второпях швырнул в мое лицо.
Шьет паук из тоненьких шерстинок
Для березы хрупкой пальцецо.

Вдруг антоновкой запахла лужи,
Горький дым синеет в борозде,
Ветер небо день-деньской утюжит,
Простиρνув заботливо в дожде.

Землю милую шагами меря,
Без тропинок, наугад пойду.
Раздвигая все лесные двери,
Окунуться, заплачу, пропаду...

* * *

ИРИНА БУШМАН

СЛАВА?

За окошком топот конниц —
тысячи Пегасов.
Звезды черные бессонниц
лишь под утро гаснут —

раннее?
позднее?

Неподкованные кони
без узды и седел —

ранняя слава?

И невидимые звезды
без тепла и света —

поздняя слава?

Этот шум совсем беззвучный
в блеске без сиянья...

Каждый миг — двойная вечность —
тщетное исканье слова.

Слава?

Нет.

Слово в славе не нуждалось
в Первый День Творенья.

За окошком нищий хаос
просит воплощенья в

Слово.

Мюнхен.

* * *

З.ДУБНОВ

Я боюсь не случайно. Я это волнение знаю.
Ночью пахнут цветы и светло так, что больно глазам.
На губах поцелуй свою жадную дрожь оставляет.
И уйти от себя, как укрыться от света, нельзя.
Как же можно назвать это нервно-невнятное чувство?
Свято носишь в себе унижение свое и вину.
Ночью руки на плечи ложатся тревожно и чутко.
Я часами стою и лицом прижимаюсь к окну...
Нет, не вырваться мысли на волю из запертой клетки,
Как не вырваться чувству из тесных объятий строки...
...В ослепительном свете качаются белые ветки.
Не несут облегченья рожденные ночью стихи.

Рига, 1968 г.

ПЕТР БАЛАКШИН

ШАМАН В ЛАКОВЫХ БОТИНКАХ.

(Г.Д.Гребенщиков).

Крепкий, крестьянского облика, ширококостный и плечистый, с лица темный, скуластый, с крупным носом, губами и ушами, с насупленным взглядом косящих глаз, с огромным лбом — от густых бровей до густой шапки вьющихся каштановых волос, он сразу же оставлял неизгладимую память о себе. В нем чувствовалась огромная воля, большой дух, что-то древнее, дремучее, сросшееся со старинной русской правдой-совестью, с былинными сказаниями, с извечным горением и страданием за правду — эту неуловимую птицу, столь близкую русскому сердцу — среди соловьев-разбойников, чаек и буревестников, несущую на своих крыльях с одинаковой легкостью правду и неправду.

Вслушиваясь в слова этого проникновенного человека, умного не по благоприобретенным предметам, а древнейшему наследию, невольно думаешь о кряжистых лесовиках, населяющих дремучие леса, о косматых шаманах в иступлении заклинаний. Но взглядываясь, видишь добротный пиджак, галстук в голубую полосу, позолоченные запонки с инициалами, отглаженные брюки, доведенные до горячего блеска ботинки — Бог мой, неужели лаковые?

Встреча с Георгием Дмитриевичем Гребенщиковым состоялась в Сан-Франциско, который он посетил во время автомобильного объезда и осмотра Америки с Атлантического побережья до Тихоокеанского. По дороге от Лос Анжелеса до Сан-Франциско он попал в автомобильное столкновение, в результате которого были повреждены его рука и плечо и помят автомобиль. Писатель был несколько не в духе, жаловался на автомобильную гонку и неосторожность, и на боль в поврежденных местах.

Но он оживился к организованному заранее вечеру, на котором он выступил с пространным словом, посвященным идеям справедливости, правды, любви, всемирности, подвигов, — все, на чем зиждилась его широко задуманная эпопея "Чураевы".

На сцене небольшого зала, вдоль трех его сторон, сидели столпы русской колонии Сан-Франциско, отцы ее, благодетели и попечители, блюстители нравов и общественные деятели, и горделивая горсть "местных работников пера". Аранжировка принадлежала самому Гребенщикову как необходимый гранитный оплот для поучительного построения и общественной, всемирной сущности "Чураевых". Он почитал

власть имущих, равно светских и духовных, и посчитал за долг посетить всех, кого мог, до своего выступления.

Гребенщиков говорил хорошо, с подкупающей искренностью и верой в неопровержимые основы своей эпопеи. Он так любил это слово, и по звуку его и по героичности...Сейте разумное, вечное...Правда около нас, но еще не совсем близко...Чураевы приблизят ее в свое время...Она предвечна, но пока еще в тумане...Надо только верить и идти к ней львами...

Предвестница "Чураевых" — "Былина о Микуле Буяновиче", — одно из сильнейших его произведений, простиралась на всю Русь во веки веков, выдвинув, в былинном повествовании, праправнуков Ильи Муромца, наставников праведного, благочестивого крестьянства. Это "эпопея русского крестьянства", — говорит о ней Гребенщиков.

Для "Чураевых" этого было мало. Это уже "эпопея русской всемирности". Что-то легендарное, мощное, в любое другое время по плечу только Гомеру. К всеобъемлющей сущности "Чураевых" во всемирном задании автор подходит, как верховный жрец к алтарю, во всей силе убежденности, что там, за перегородкой, он только один видит нечто, скрытое от других, по их слепоте и неверию.

Во всемирности "Чураевых" Третий Рим уже не Москва, а что-то вроде села Пахомовское или сибирского городка Канска. И на первом плане не богатырь-крестьянин, а герой облика сельского учителя "с идеями". Но задуманные широко и по времени и по пространству, они уже в своем зачаточном состоянии носили порок, обрекший их на преждевременный конец. Двенадцать опубликованных заглавий томов — одно из них: "Идите Львами", без хотя бы беглых черновиков на все тома, — рискованный прыжок, требующий, по цирковому жаргону, "знания площадки".

Ко времени переписки с Гребенщиковым "Чураевы" были доведены лишь до пятого тома. Шестой только готовился к печати, о других, как будто, ничего не было слышно. Задуманная в прошлом, в полном отрыве от сегодня, которое таким коренным образом разошлось с планом, чураевская эпопея не имела и будущего. Сказать, что въезда в Москву на белом коне не произошло лишь потому, что не успели подковать коня, — недостаточно. А сказать, что "русская всемирность" достигнута путем мирового рассеяния миллионов русских эмигрантов, значит поиздеваться над своей судьбой.

И все же "Чураевы" оставили след. Там и здесь за рубежом появились чураевские скиты, в которых русские люди, в постоянной погоне за той же неуловимой птицей, а больше под чувством гуртовой привязанности, собирались побеседовать о правде, о справедливости и других, приятных на слух вещах.

Объезд Америки вряд ли мог оправдать надежды писателя на распространение его идей, а, главное, книг. Америка переживала суровую депрессию, в жестких тисках которой бился русский эмигрант — зачастую без языка и ремесла. Быть бы живу, а не до жиру!..Где уж там книга! К тому же у писателя подорвалась вера в американское

правосудие. Иск за поврежденную руку и помятый автомобиль закончился отказом. Калифорнийский судья не нашел убедительным заявление истца о том, что его косоглазие явилось результатом автомобильного столкновения.

28 декабря 1933, Чураевка.

Сейчас я очень занят только эпопеями и всякие отступления у меня не выходят. Вчера всю ночь писал "Письма с Помпеяга" под названием "Суровое Слово" о проблеме молодежи в Америке вообще. Но статья разрослась, вышла очень суровая и может многих обидеть. Надо, значит, отложить ее для отделки. Сегодня написал для Вас вторую, коротенько — "Невольник Чести". Этим и ограничимся.

Для будущего Альманаха могу прислать Вам повесть, на 40 страниц, "Совет Королю". Написана давно, выдержана. Но даром, дорогие, не могу. Чтобы не брать с Вас денег — возьмем этими же Альманахами. А сколько — Вы определите сами и напишите мне, приемлемо ли это для Вас.

В обмен за присланную статью м.б. поместите прилагаемое объявление.

С самыми лучшими мыслями,

Ваш Георгий Гребенщиков.

Янв. 1934. П.П.Балакшину.

Очень Вам благодарен за добрую память и за предложение принять участие в Вашем Татьянинском торжестве. Сказать на тему, Вами предложенную, можно и должно очень много, но определенно, без компромиссов. Однако для этого нужна более безобидная форма — форма искусства, а в короткой статье выйдет нечто дилетантское. Да и то сказать: по всякому поводу, на всякую тему могут быть написаны бесконечные вариации. Общечеловеческая идея настолько кустообразна, что чем тоньше кружево листвы и ветвей, тем меньше сторонников заниматься изучением корней дерева, всегда копошащихся в недрах земли. Вот почему следовало бы написать для Вас особый рассказ или дать старый, в миниатюре, отрывок из эпопеи, но в виду малого срока и этого сделать не могу. (Очень сейчас поглощен своей основной работой — эпопеей).

Ваш Георгий Гребенщиков.

14 апреля 1934.

Получил Ваше письмо и, конечно, с радостью включим Вас в число наших критиков, чтобы посылать Вам бесплатно все наши издания.

Насколько я помню, об эпопее "Чураевы" еще не было напечатано

в Америке ни одной серьезной статьи во всем охвате произведения. Так что если Вы желаете это восполнить и спишетесь с Вейнбаумом ("Новое Русское Слово"), мы можем дослать Вам все недостающие тома, а Вы найдете возможность прочесть все по порядку и дать Ваш свободный и беспристрастный отзыв об этой работе, охватывающей период всего начала XX столетия. Шестой том тотчас по выходе, конечно, будет Вам выслан. Ради Бога, отнюдь не смущайтесь тем, что том за томом выходит медленно. Это не признак слабости, а, наоборот, веры в то, что эту вещь читатели не забудут, и что, наконец, вся эта вещь пишется не столько для современного читателя, сколько для будущего, более беспристрастного поколения.

Привет всем, кто меня помнит, и лучшие Вам пожелания.
Ваш Георгий Гребенщиков.

1 мая 1934.

2, 3 и 4 томы эпопеи "Чураевы" Вам посылаются. Не хотел бы никак влиять на Ваше отношение к моим трудам, но хотел бы, чтобы Вы их *внимательно и до конца прочитали*. Если это стоящая вещь, — даровитый критик не может не вдохновиться. Думаю только, что в рамки "зарубежного" меня втискивать не следует. Я пишу о периоде в 30 лет — при чем тут зарубежность? Также Вам советовал бы прочесть хорошо "Гонца", скит культурной мысли, это только "отрыв" от главной мечты. Знаете ли Вы мои первые томы моих рассказов, повестей? Они есть у Вас в библиотеке. Одно могу сказать, что безделицами критик не может отделаться, если он возьмется за эпопею. "Былина о Микеле Буяновиче" — эпопея русского крестьянства. Чураевы — эпопея русской всемирности. Читая, заметите явные опечатки, их много. Не относите их на мой счет. Нет, уж ради Бога, "фрагментом" обо мне не пишите. На разборе эпопеи — покажите себя. Это будет Ваша докторская диссертация.

М.б. едва ли Вам дадут место в одной газете — Вам придется разбить разбор на ряд статей, м.б. по томам или периодам событий. Прочтите мое мнение о критике в Вашем Альманахе. Похвал мне не надо, *нужно истинное понимание*, проникновенность и способность охватить всю сложность задачи. Обычно критики, сами не "докумекавши", ограничиваются шаблоном: "автор не справился с задачей", хотя об эпопее писали огромные авторитеты Европы, даже по первому тому давая мне большие кредиты. Конечно, более половины эпопеи впереди. Но 5 томов — это не безделица, и я хочу верить, что Вы во многом можете мне уяснить самого себя, хотя как будто я знаю, что делаю.

Вейнбауму скажу при случае о Вас, но не скажу, что близко знаю Вас. Иначе в кумовстве заподозрит. А почему не толкнетесь в Париж, в "Сегодня" в Ригу, в "Русское Слово" в Варшаве и т.д.?

Привет всем друзьям...И Вы, как критик, свободно ответите перед читателем и этого достаточно.

Ваш Г.Гребенщиков.

21 июля 1935.

Очень рад Вашему новому начинанию и верю, что сборник не будет провинциальным по внешности и содержанию, и будет опрятен во всех отношениях. Участие приму, но писать специально не имею времени, т.к. готовлюсь к большому лекционному труду по американским колледжам, клубам и пр., начиная с конца октября, а до того — масса очередной работы. Есть у меня готовая большая повесть: "Совет Королю", чисто американская, но она 50 страниц обычного формата. Отдельваться пустяком не хотел бы, но у Вас, видимо, свои соображения. Написать малый рассказ с большим содержанием трудно в короткое время. К оплате труда в Америке мы не привыкли, и "ПОКА" все еще тянется, уже 11 лет. Все же дадите мне некоторое количество сборника и напечатаете небольшое объявление.

А где же Ваша критическая статья о моей эпопее? Кажется, я Вам послал все свои книги? В Америке еще не было серьезного и полного разбора моей самой большой работы? Интересно было бы знать серьезное отношение к этому понимающего критика. Все-таки трудна наша с Вами литературная дорога в Америке. Одиноки мы, нет массы читательской и нет чуткости вообще. Но будем мечтать о тех неведомых читателях, которые придут после нас и захотят заглянуть в наше бурное и пламенное прошлое. С этой мыслью и писать легче и лучше выходит...

Искренно жму Вашу руку и приветствую всех Ваших сотрудников.
Ваш Георгий Гребенщиков.

* * *

ЮРИЙ ИВАСК

1. ВДВОЕМ С КОТОМ.

Уже двенадцатая пятилетка
Идет: а почему не все равно?
Стучи, машинка, и врывайся, ветка,
Из августа в открытое окно.

О, прелести поэзии и прозы:
Уединение и стукотня.
Милы на шторе ситцевые розы
Не меньше португальских у плетня.

О, таинства! Куда: покой-ворота?
Что крестики, корявые, сучков?
А розы глобусами: вы литоты,
Благоуханные, метá-миров.

Не символы! Реалиями рая:
И азбука, и флора, и любовь.
Не все равно? Упругая, сырая
Хрустела мной едомая морковь!

А кот, ободранный в недавней драке,
Дышал отдохновенно животом.
Сейчас, — ему мурлыкаю, писака:
Блаженны смертные, а не потом.

* * *

2. СКУНС.

Не бойся скунсового смрада:
Ну, вытошнит, а не умрешь!
Не обонянье, зренье радо
Язленью тихому: хорэш!

Осьмеркой, ятью, твердознаком
Рисуется, вертя хвостом.
Не причисляю скунса к бьякам
Я в мироздании моем.

И не страшусь я кривотолков:
Поистине прекрасен он.
Вечерне-черный, колко-шелков,
Балейшей шалью окаймлен.

И на́зло вони: злой, бензинной —
Безвредно здброво смерди.
Зверек естественно-невинный
Прогресса явно впереди:
Шофер, иди к нему с повинной
И не дави...

1975 г.
Амхерст, Массачусетс.

* * *

В.ВОРОНЦОВСКАЯ

ПОМПЕЯ.

Булыжники, заросшие травой.
Тропинки — от порога до порога
Едва заметны. И пуста дорога
В тот город пепла. Солнце палит. Зной.

Град безразличен к суматохе дня.
И, как усопший, смертью просветленный,
Раскинулся, лежит, опустошенный,
Свою судьбу в молчании храня.

Под синим небом — мраморность колонн,
Седые камни смотрят так угрюмо!
И жизни ритм несет отплывом думы
Сквозь темноту кочующих времен.

И так плывет по вечности Помпея,
В преданьях нашей жизни камня.

И С П Р А В Л Е Н И Е.

В номере 28—29 "Современника" в стихотворении Игоря Чиннова на стр.32 третью строку сверху следует, по желанию автора, читать следующим образом:

"На песке у моря, светлая осень," и т.д.

В другом стихотворении Игоря Чиннова на стр.33 заключительная строфа должна читаться:

А письмо, как птица: вот летит в бассейн,
В воду черную само.
С черной кромкой то письмо,
Скучный вестник смерти в скучной жизни сей.

*В стихотворении Александра Гидони "Всадники" четвертая строка сверху на стр.49 должна читаться:
"защищая из милости."*

КЛАВДИЯ ПЕСТРОВО

Весна. Кипарис в посветлевшей сутане
И птицы смеются в окошке моем.
Настойчиво-нежно фиалки в стакане
Старались напомнить о чем-то. О чем?

Седой эвкалипт, по-весеннему пьяный,
"Забудь...Позабудь!" — мне шептал под окном.
И чайка над синим венком океана
"забудь же!" — чертила сиявшим крылом.

Но сразу, сквозь память, как брызги в фонтане:
...росистое утро...в просторе степном...
И пахли, и пахли фиалки в стакане
печально—прекрасно — о бывшем...былом.

* * *

Бескровная, тщедушная травинка
Пробилась в щель асфальтовой плиты.
Совсем как из-под гнета и насилья,
Пробились на свободу я и ты.

Цветут камелии и померанцы
И солнце греет ласково зимой,
И волны опоясывают берег
Жемчужно-изумрудною каймой.

Но мы с тобою вечно недовольны:
И то не по тебе, и я ропщу...
А та былинка выбилась на волю
И радуется — каждому лучу!

Не стыдно ли?..Скорей, пока не поздно!
Стряхнем с себя всю недовольства мглу
И Господу, как мудрая травинка,
За благо жизни вознесем хвалу.

Сидней. Австралия.

ОЛЕГ КОЗИН

АВСТРАЛИЙСКАЯ ПРИРОДА.

Февральский полдень... Над холмами
Навис безоблачный зенит,
Над раскаленными камнями
Нагретый воздух чуть дрожит.
И Цветом яркого сапфира
Себя окрасил горизонт,
Как на картинах Наматжира,
Объятый летним знойным сном...
О, австралийская природа!
Ландшафт, что был вчера чужим,
Становится вдруг с каждым годом
Все больше для меня родным.
Люблю я вечера в пустыне,
Когда над дремлющей землей
Закат, раскрыв свой хвост павлиний,
Застыл, любуясь сам собой.
Люблю я запах ночи душной,
Как бархат, черный небосклон,
С сияньем звезд его радушных
И с Южным, царственным, крестом.
И свежий поцелуй рассвета,
И крик "мзгпая" на заре,
И, как бы с утренним приветом,
Спор в кукабаровой семье.
Люблю я вас, сухие степи,
Колочий, желтый ваш покров,
И ваши высохшие реки,
И женственный рельеф холмов.
И кто твердит, что степь без жизни,
Что нет красоты в ее тиши,
Тот сам присутствует на тризне
Своей же собственной души.

* * *

МОРСКИЕ ШТОРМЫ.

Я люблю морские штормы,
Громоздящиеся тучи,
С пеной белой злые волны,
Вспышки молнии летучей,
Стоны мрачных скал грудные,
Ветра волчи завыванья,
И под посвисты шальные
Волнобоя ликованье.
Как люблю я запах шторма —
Тонны свежего озона.
Он так свеж, как воздух горный,
Как рассол густой, соленый.
И он чокается с громом,
Этот воздух веселящий,
Как бокал с душистым ромом,
Горький, крепкий и пьянящий.
Ах, люблю морские штормы!
В них задор старинной битвы,
В их разгуле непокорном —
Вопли, стоны и молитвы.

ВЕЧЕР.

Спускался тихо летний вечер
На тело жаркое земли,
И на холмов могучих плечи
Погоны красные легли.
Пожаром позднего заката
Горел со степью горизонт,
И солнца силуэт горбатый
Клонило медленно на сон.
Дохнуло сочною прохладой,
Реку объяла тишина,
И затрещали серенады
Сверчков, разбуженных от сна.
А я, в разнеженной истоме,
С устало-сонной головой,
Следил в лениво-сладкой дреме,
Как ночь венчается с землей.

* * *

К ДРАКОНОГРАММАМ МИГУЕВА-ЗВЕЗДУХИНА.

(О поэзии Бориса Нарциссова).

Когда читаешь новый сборник поэта и стихи его нравятся, невольно возникает желание узнать больше об этом поэте, его творческом пути вообще. В эмиграции мне удалось, я думаю, проследить путь, которым вела вперед Бориса Нарциссова его довольно строгая, не часто улыбающаяся муза. Кроме прозы (рассказов, критических и научных очерков) в разных журналах, Нарциссов выпустил в свет пять сборников стихотворений: "Стихи" (1958 г.), "Голоса" (1961 г.), "Память" (1965 г.), "Подъем" (1969 г.) и "Шахматы" (1974 г.). Мне хочется поделиться с читателями впечатлениями о *всех* сборниках стихотворений Нарциссова, ибо его поэзию я считаю значительным явлением в русской эмигрантской, а, следовательно, и в общерусской литературе.

Первый сборник ("Стихи") начинается интересным циклом "Древность". В стихотворении "Жизнь" изображено начало жизни на Земле: *"В мутном рассоле вод Архейского моря Плавно колышались нити тлячучие плазмы..."* Особенность Нарциссова в том, что он часто смутной метафорической игрой рисует в стихах картину, которую во всем ее настроении трудно было бы выразить чисто реалистическими средствами: например, образ древнего лохматого мамонта, стоящего на обломках льдин полярного моря, в багровых лучах северного сияния, или образ мифического гиппогрифа, птицы-коня, нападающего на людей. Надо сказать вообще, подходы к тематике у Нарциссова следующие: научный, космического или исторического характера, мистический, часто с эсхатологическими мотивами, и мифологическо-мифотворческий. Замечателен перевод баллады "Улалум" Эдгара По, прекрасно передающий настроение оригинала.

Далее идут стихотворения, которые трудно цитировать и пересказывать. В них — мифологические персонажи: двойники, вампиры, в том числе и элегантные; кикиморы, свещеглазники; объекты и места: чуланы, разный забытый хлам, чердаки, с их призрачной нежитью, нехорошие, болотные края дикого севера...

*"А посмотришь — почмокав устами,
Закачался: уже, как туман,
Растекался внизу под кустами,
Головастый болотный губан.
Вот смотри на такое в окошко.
— Вам-то что, а мне с ними тут жить...
Я и сам уже начал немножко
Ведогонью по лесу кружить."*

Сами названия циклов стихотворений у Нарциссова носят характер таинственности, "остраннения": "Под знаком Сатурна", "Двойники", "Звездная Птица" и др. Личного в этих стихах нет, о биографическом можно только догадываться: "потонувшая" Медведица, Арго, Скорпион, Облака Магеллана, — эти созвездия и упоминания об эквиполитках говорят о жизни "под чужим небом", в Австралии.

Второй сборник — "Голоса", начинается мотивом о конце мира. "Огонь" — это как бы история мира, с оттенками оккультных представлений, — когда мы были "на совсем минеральной ступени" и "даже ангелы были растения", и когда Земле предстояло еще шесть зон существования (*манвантар*, по учению индусов и теософов). В "Памяти" (третья книга стихов) — тоже мифотворческие чары, синие сказки, идущие от звезд и от *Мигуева-Звездухина*, т.е. от темно-синего ночного небосклона. Замечательны стихотворения: "Как попадают в Бизбен" — о месте, где "не живут — пребывают", и "Могила" — о посещении могилы Эдгара По на кладбище Балтиморы.

В четвертом сборнике ("Подъем") — ряд сильных стихотворений: "Звездочет", "Египет" и др., и снова "Эдгарияна" — стихи "Черная Птица", "Разговор" — воображаемая беседа с Э. По в Фордхэме, о возможных, но несостоявшихся встречах "с веселым смуглолицым человеком", написавшим Германа и Лизу, т.е. с Пушкиным, и с одним корнетом гвардейским, — "*Тот хорошо английский знал — А ужас он носил с собою в сердце...*" В этом цикле объединены все четыре стихотворения об Эдгаре По. В сборнике часты мотивы смерти, завуалированные фантастическими образами.

Пятый сборник "Шахматы" — "шахматный" лишь в аллегорическом смысле, в смысле движений в мировой "игре", без которой был бы "бессветный хаос — Тиамат", т.е. начальная тьма сумерийских мифов. В сборнике появляется больше стихотворений научно-философского характера ("Стихи о гиперболе", "Алеф"). Конечно, прежний мифотворческий элемент (упыри, "подкрышные мальцы", двойники, "свидетели") продолжает жить и возиться вокруг, — большей частью полукомический элемент сказочности, так оживляющий содержание! Далее — "Драконограммы" — вести из других миров, угрожающего характера, странные образы "рыбангелов", напоминающие существа с иных планет в одной из книг Олафа Стэплдона. Сюда же можно отнести и цикл "Планеты и Знаки". Задумчивостью, воспоминаниями о родине звучат стихи из "Эстоника". Цикл "Ин Сомнис" особенно странен — в нем, если можно так выразиться, следует искать "смысл, лежащий за смыслом" в комплексных его метафорах. Зловещая мистика выступает в стихотворении, где голый и слепой мальчик, сидящий на пыльном чердаке, кричит одно лишь слово: "ужас"...

В поэтике существует термин: "суггестивная лирика". Понятнее было бы сказать по-русски: "лирика намеков". Этот тип лирики характерен для романтиков — символистов, что, в сущности, одно и то же, — в противоположность реализму-натурализму. Эта лирика осно-

вана на метафорической игре, т.е. на применении понятия аналогического, переносного смысла. Метафора, по Аристотелю, есть самая главная фигура речи (троп). По учению И.А.Ричардса, метафора состоит из идеи и образа: например, в выражении "осень жизни" "жизнь" есть идея, а "осень" есть образ. Эта метафорическая игра способна передать самые неуловимые оттенки смыслов и настроений, создавая некое очарование полужанностью. Это сближает поэзию с музыкой — языки, вообще, бедны в отношении передачи тонких эмоциональных состояний; музыка в этом отношении неизмеримо богаче. Метафорическая игра в романтической лирике "намёков" дает как бы интерференцию образов, неуловимую ткань колеблющихся, смутных понятий, выходящих за пределы примитивной реалистической образности, — в этом все очарование романтизма-символизма. Близость к музыкальному в поэзии вовсе не заключается в рифмах, в так называемой "словесной инструментовке" (нелепое выражение!). "Эхвое", сигнальное значение рифм, звуковых повторов отрицать нельзя, однако метафорическая игра образов и создаваемых ими эмоциональных состояний — уровень в этом отношении наиболее важна. Правы были те критики, которые утверждали, что писать понятийно-предметно, т.е. реалистически, гораздо легче, чем в романтическом стиле. В русской литературе было слишком много реализма. Бориса Нарциссова следует отнести к романтической школе; диапазон его поэтического творчества чрезвычайно широк и глубок.

* * *

С.ТОЛ

Я вижу, опять потянуло
К лесам и оврагам меня,
Туда, где весною дохнуло,
Где луч копошится у пня.

Где в свежем дыхании ветра
На высохшей, теплой меже,
Обтянутый зеленью фетра,
Подсолнух поднялся уже.

Где розовосиний осинник,
Предутренний сбросив туман,
Стоит ненаглядной картиной
И небо над ним — как экран.

* * *

М.МЮЛЛЕР-ГЕННИНГ

ПЕСНЯ О ЗАРЕВЕ.

День зарею наливается,
Розовеет даль от сна...
День от ночи отличается
Цветом крови и вина.

Вот исчезли и растаяли
Звезды...Выпала роса.
Облака собрались стаями,
Ждут, как ветра паруса.

Ждут, как я, денницы заревной,
Ждут, как я, тепла и дня,
И горят с рассветом-маревом
Сказки, грезы для меня.

Светом утренним, заманчивым,
День лукавит и зовет —
Так всегда казалось раньше мне,
Лет за сорок напролет...

Вот и сказки все былинами
По страницам разбрелись,
Потерялись где-то сны мои,
Не наспели, не сбылись.

...День зарею наливается,
Розовеет даль от сна.
День от ночи отличается
Цветом крови и вина.

Регенсбург, 1975 г.

Т.МАНДЕЛЬШТАМ-ГАТИНСКАЯ

РУССКИЙ ВАЛЬС.

Эта музыка старого вальса
Будет долго дрожать на смычке.
Ты, смычок, ей в ответ улыбайся,
Говори о любви и тоске.

О потерянном счастье не плачут,
Ждут последнего дня своего.
Эта музыка многое значит —
И не значит почти ничего.

Свет сиреневый падал небрежно
На снежинки кружащихся пар,
И тебе неожиданно нежно
Молодой улыбнулся гусар.

Но что губы его прошептали,
Заглушил в тебе праздничный гул...
Вдруг повеяло холодом в зале,
Будто северный ветер подул
Из страны, где снежинки не тают,
Из страны, что приснилась на миг,
Где мохнатые звезды летают,
Забираются под воротник.

"Замело тебя снегом, Россия,
Запуржило седую пургой,
И суровые ветры степные
Панихиду поют над тобой."

Париж.

Л.ГНУТ

ВАРИАЦИИ.

1. На стихотворение Л.ФАБРИЦИУСА "Уставшие от дальних плаваний".

Баркасы как-то в тихой гавани
Дремать решили у причала...

Им снилось море в снежном саване
И завывание нордоста;
Как будто бы от дальних плаваний,
Уставших, чайки их встречали...

Но сон прошел, и снова те же
Баркасы-баржи у причала,
И тот же путь к ближайшей гавани,
И тот же груз, опять с начала..
Не слышать ветра им, нордоста,
Не видеть моря в снежном саване,
Нет больше снов их у помоста,
Как нет баркасам дальних плаваний.

* * *

2. На стихотворение А.ВЕЛИЧКОВСКОГО "О, как прекрасен летний зной".

Как ныне тяжек летний зной
Во время жатвы. Пыль столбами
Кружит. Как рабскою толпой
Идут украинки рядами...
Немеют руки, гнутся спины,
Несут сноды: босой ногой
Касаясь почвы раскаленной.
И возвращаются домой
С полей чужих, объединенных
В колхозы... Был когда-то труд
Похож на праздник... Это время
Давно минуло, и теперь
На Украине только бремя.
Теперь не то: пшеницу жнут
В дыму и грохоте комбайны.
Потом пшеницу увезут
И будет голод на Украине...

Шумит и стонет Днепр широкий
И стонет вместе с ним народ.

Придет ли этот день далекий,
Когда спадет яремный гнет?..

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы уже сообщали в предыдущем номере "Современника" о подготовке к выходу в свет "Истории Канады" М.И.МОГИЛЯНСКОГО.

В настоящее время книга сдана в печать и летом появится в продаже.

Напоминаем, что это будет *ПЕРВАЯ В МИРЕ ИСТОРИЯ КАНАДЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!*

Мы обращаемся к Вам с предложением подписаться предварительно на эту книгу.

Цена книги — 10.00 долларов, включая пересылку.

Заказы и деньги просим высылать по адресу:

SOVREMENNİK PUB. ASS., INC.

9 Garnet Avenue

Toronto, Ontario, Canada M6G 1V6



ОТ РЕДАКЦИИ.

Читатели нашего журнала знают о существовании в нем раздела "Канада". В настоящем двойном номере этот отдел полностью ведет член Редколлегии "Современника", известная поэтесса и журналистка Элла Ивановна БОБРОВА.

ЭЛЛА БОБРОВА

В ЛУЧАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ.

Вот страна – в свете Северных вечных сияний
и в густых кружевах ледниковых озер;
омываема водами

трех океанов...

Покрывают одиннадцать меридианов
тундра,
прерии,
цепь вулканических гор.

Груды скал
с тайной кованой тысячелетий...

Кто-то некогда

яростно здесь бушевал.

Скажут:

поле сражения войны межпланетных
или:

"Бог, видно, Каину дал земли эти" –
ведь Картье так об этом когда-то сказал.

А потом –

райский остров, где пением, звоном
славят Господа

поле,

река,

лес и луг;

где земля, щедро небом всегда напоенная,
благодарно рождает
богатства бездонные,
и кишит жизнью
глубь океана вокруг.

Берег материка,

голый,

тощий,

голодный.

Но вот с дальнего озера мчится река:

пустыри разрезает,

сильна, многоводна,

в берегах будит спящий порыв

к плодородью –

как сестры бескорыстной и умной рука.

Сеть Великих озер,
как моря, судьбоносных.
Вкруг – полотно просторлюбивых песков;
и стеною леса – кленов, елей и сосен –
то сердито густых,
то отчаянно рослых,
дерзко рвущихся к флоту седых облаков.

Вдруг – светло.

Нива – море.
Как ветру просторно!
Как далек горизонт!
Вот он вовсе исчез...
Расстилаются прерии мягкой, бесшовной
простынею натянутой,
как бы покорно
принимая гнев, слезы и милость небес.

Но взлетают края к крышам гор заснеженным,
вниз к подножьям стремятся потоки с озер.
Принимают хребты,
опираясь на склоны,
на себя смертоносную силу циклонов,
как степей беззащитных извечный дозор.
Самый крайний – уперся в пески океана,
и не сдвинет его
даже нежность волны.

Он стоит, то закатным лучом осиянный,
то вздремнет чутким сном на подушке тумана
и кует
о Востоке неведомом
сны.

* * *

*(Из поэмы "В лучах Северного сияния", написанной для
одноименной оратории ЛЕОНА ЦУКЕРТА в 1975 году).*

СУДЬБА НАСЛЕДИЯ ЗОЛЯ.

Во всем цивилизованном мире, причем не только в литературных кругах, имя Золя мгновенно вызывает эхо, повторяющее слова: "Я обвиняю!"

Услышала их и автор этих строк, читая в канадских газетах о создании в Торонто Центра по изучению архива Эмиля Золя. (Семья писателя в течение 70 лет не разрешала к нему доступа, т.е. держала многие его мысли под замком!)

Кто в наш век Солженицына не вспомнит о мужественном писателе Франции, который, вначале взбудоражив мировую литературу прошлого века натурализмом своих романов, посмел восстать против обвинения французского офицера-еврея в государственной измене и шпионаже в пользу Германии.

Кто не вспомнит его страстного "Я обвиняю!" в послании президенту Франции и слова его речи на суде, перед которым он предстал добровольно, чтобы добиться пересмотра дела Дрейфуса: "Важно не только то, что один невиновный человек взывает к справедливости. Важнее, что великая нация, великий народ в опасности лишиться чести. Страна, в которой царит беззаконие, идет к гибели... Все как будто против меня: обе палаты, гражданские власти, крупные газеты и общественное мнение. За меня только идея, идеал справедливости и человечности..."

Почему мы сегодня вспоминаем о подвиге Золя, не побоявшегося выступить в защиту человека, которого сам никогда не встречал, но в невиновность которого поверил, несмотря на все "доказательства" вины осужденного, внимая только голосу своей совести, подсказавшей ему, что решение суда несправедливо?

Прежде всего потому, что в наш век идеологической войны роковое "виновен", обрекающее человека на позор, на физическую и нравственную изоляцию, звучит гораздо чаще, чем в прошлом веке.

Потому что в век негласных или инсценированных политических процессов неизмеримо труднее судить о справедливости приговора — суда и толпы.

Потому что в век преследований человека за расовое или классовое происхождение; осуждения не за поступки, а за мысли и "возможные" нарушения законов, история не может и не должна быть забыта: она поможет нам быть человечнее, не бояться иметь свое суждение, даже если это менее "удобно" или безопасно, чем следовать за большинством.

Через 80 лет после того, как Золя выступил в защиту только одного человека, пострадавшего от несправедливого суда, в другой

стране, тысячекратно нарушившей законы справедливости и человечности, нашелся писатель, бросивший миру свое громоподобное "Я обвиняю" в виде трех томов "Архипелага ГУЛАГ".

Нельзя не провести параллели: Золя вынужден был бежать из Франции; его год в Лондоне был продолжением борьбы за идею справедливости. В своих "Письмах к Франции" он призывает "просвещать общественное мнение, всех тех маленьких и скромных людей, которых отравляют и сводят с ума! ...Неужели к нам не присоединятся все свободные умы, все горячие сердца?.."

Золя победил. Уже через год ему разрешили возвратиться во Францию, и его останки сегодня покоятся в Пантеоне, рядом с останками великих...

Изгнание из родной страны автора ГУЛАГ'а, взволновавшее в свое время весь мир, нашло свое отражение и в канадско-русской поэзии. Так, автор настоящей заметки в стихотворении, опубликованном в "Русской Мысли" 21 марта 1974 года, обращает взгляд еще дальше вглубь истории, проводя параллель с современностью:

«Я взглянул окрест меня — душа моя
страданиями человечества уязвленна
стала...»

Александр Радищев

«Когда правда загнана в подполье, она
задыхаясь ищет выхода с такой силой,
что в неминуемый момент взрыва —
погибает все вокруг...»

Эмиль Золя
«Я обвиняю!»

Не сплю. Меня контрапунктом сложным
всю ночь будоражит хор голосов.
Глушат их века, камни стен острожных,
радар, электрон...

Их убить не может
ни сила стихии, ни власть богов.

Пусть слов чужеземных иль русских, древних
я смысл не всегда могу понять:
но слышу мелодию септим гневных
в попытке основы октав прорвать.

Здесь соло вдруг тонет. В фальцете, в свисте
я слышу: измена... клевета, позор!
И вновь прорывается голос чистый:
в нем дрожь страданья, в нем сила истины —
и он — один! — покрывает хор,

как колокол: требую правды, света...
Я обвиняю: царит в стране
бесправие... всех виновных — к ответу!
Погибну я, но не буду нем!

То было. Как, было не в нашем столетье?
Ведь явственно слышу фальцет и свист...
И вот он, полный презрения к смерти,
разносится эхом по всей планете
над всем

смелый голос, печален и чист.

Так будет: на Сене, Москве-реке, Арно...
Где б рот ни закрыли любимцу муз
рукой невежественно-коварной —
в ответ прозвучит

на весь мир: "J'accuse!"

Что же касается собственно архива Золя, то несколько лет назад он казался еще полностью недоступным, когда одно событие вдруг смягчило строгость хранителей фамильных секретов: профессор французской литературы Йоркского университета Торонто издал письма к Золя его современника, писателя Поля Алексиса. Серьезность этого исследовательского труда произвела настолько благоприятное впечатление на членов семьи Золя, что внук писателя Д-р Франсуа Эмиль-Золя решил открыть исследователю (им был профессор Бард Беккер) доступ к богатой коллекции писем и личных бумаг своего знаменитого деда.

Содержимое архива пока еще тайна. Но предполагается, что кроме открытий в сфере его личных отношений с мадам Розеро, матери его двух детей, изучение наследия писателя даст много нового о деле Дрейфуса.

В течение ближайших пятнадцати лет будет опубликовано 2500 писем Золя и внесено в каталоги 5000 писем его корреспондентов. Микрофильмы, фотокопии и все новейшие методы библиографии дадут возможность дополнительно осветить многие события конца девятнадцатого века, отношение к ним Золя, влияние его бунтарского духа на культуру Франции, а, следовательно, и на мировую культуру.

В проекте примут участие 40 ученых нашего континента, Европы и Советского Союза, при особой поддержке правительств Канады и Франции, а также университетов Торонто и Парижа.

"Современник" намерен в разделе "Канада" и впредь публиковать подробности открытий в работе Центра по изучению наследия Золя.

Таким образом, мы снова услышим голос писателя, способного и сегодня волновать нас своей любовью к правде и справедливости.

ПЕРЕВОДЫ ЮРИЯ ГРИГОРОВА.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН (1844-1896)

Среди равнины,
Среди тоски,
Даль – паутина,
Снега – пески.

Медью мерцает
Небес глубина.
Живет-умирает
На небе луна.

Над облаками
Ветви дубов
В дальнем тумане
Ближних лесов.

Медью мерцает
Небес глубина.
Живет-умирает
На небе луна.

О, волки, вороны,
Не стон ли зверей
В простор пустырей
Несет ветра стоны?

Среди равнины,
Среди тоски,
Даль – паутина,
Снега – пески.

(С французского)

ХЕРТРУДИС ГОМЕС де АВЕЛЬЯНЕДА
(1814- 1873)

ВАШИНГТОНУ.

Ни в прошлом образец, с тобой сравнимый,
ни в будущем подобный идеал
возвышенно-прекраснейших начал
не выдвинет веков поток незримый.

Ты для Европы был непримиримый
боец, чей путь победами венчал
твой дух; зато Америке ты дал
путь славы и добра, с небес даримый.

Пускай в иных мечтах иной воитель
мир обращает в прах, все сокруша
и насаждая рабское обличье,

не он, а ты – славнейший победитель;
кто дух свободы сеет – в том душа,
кто силу дал народу – в том величье!

(С испанского)

Хертрудис Гомес де Авельянеда – известная испано-кубинская поэтесса прошлого века, оставила заметный след как в кубинской, так и в собственно испанской литературе. Ее, впервые переводимый сонет "Вашингтону", заслуживает внимания в год празднования Двухсотлетия Независимости Соединенных Штатов Америки.

ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС
(1871–1952)

СВЕРНИТЕ ШЕЮ ЛЕБЕДЮ...

Сверните шею Лебедю...Узора
белейшего на синей зыби след
он бросил...Ну и все...Не этот силуэт
есть скрытый дух вещей и вешего простора.

Пусть видимость не замутняет взора.
Глубинной жизни важен тайный свет;
ее постигнешь ты – и свой привет
она тебе пошлет – твоя опора.

Покинувший Олимп и вниз летящий,
пусть мудрый Филин даст животворящий
тебе пример, стремя свой грустный лет.

В нем, лебединой грации лишенном,
скрыт дух, который взором неумным
во тьме – молчанья тайный смысл прочтет.

(С испанского)

Энрике Гонсалес Мартинес – выдающийся мексиканский поэт, один из зачинателей модернизма в латиноамериканской литературе. Его сонет "Сверните шею Лебедю..." был своего рода стихотворным манифестом поэтического модернизма. Парадокс ситуации состоит в том, что для своих призывов убить традиционную красоту – "Лебедя", поэт избрал традиционно красивую форму сонета.

ПЕРЕВОДЫ С ИСПАНСКОГО Л.АКАСТРОВА.

ГУСТАВО АДЛЬФО БЕККЕР
(1836-1870)

1.

Как в открытой книге, я читаю
в темной глубине твоих зрачков;
и напрасно губы то скрывают,
что твой взгляд давно сказать готов.

Плачь! Признаться не стыдись: когда-то,
может быть, любила ты меня.
Плачь! Одни мы; прятаться не надо.
Посмотри: ведь плачу также я...

2.

Все вздохи, сливаясь,
нам ветра дают дуновенье.
А слезы с водой тихих рек
море вновь заберет.
Скажи мне, о женщина:
если предашь ты забвенью
Любовь, – то куда она в мире уйдет?

* * *

3.

Молчите, знаю: да, она надменна,
изменчива, капризна и тщеславна.
Скорей, чем чувство у нее проснется,
слезами горная скала зальется.

В душе ее – змеиное гнездо:
в ней фибры нет, способной на любовь,
она, как статуя – мертва, бесстрашна;
но...

Как она прекрасна!

Густаво Адольфо Беккер – выдающийся испанский поэт-классик. Проявил себя как тонкий лирик. Его стихи, к сожалению, очень мало переводились на русский язык.

ЮРИЙ ИВАСК. Две рецензии. 1. Татьяна Фесенко. Пропуск в былое. Буэнос-Айрес, 1975.

Темы сборника совпадают с этапами жизни автора. Это старый Киев, родная Украина, мировая война, бомбы в Силезии, средневековый Бамберг, и позднее – свой дом в США, поездки по Америке, по Мексике. Другие, но по существу сходные географические варианты странствий-мытарств, вошли в биографии эмигрантов, так что: это стихи не только о себе, о своей личной судьбе, а о многих, очень многих, для которых Татьяна Фесенко наговорила-напела "Песенку о Большой и Малой земле":

"В эмигрантскую даль

русской Малой земли

Спотыкаясь в пути, мы упрямо несли

Совесть, ум, работающие руки,

Из Большой,

из великой, недоброй земли

Дули ветры разлуки,

А мы шли...

Хочется сказать: и я шел, и ты шел (шла), и вы шли в том же "спряжении" от 40-х до наших 70-х годов.

Шли и куда-то пришли, обжались и вспоминаем часто "старые были", и вот оказывается:

"На Большой, на великой, недоброй земле

Свое сердце мы в сборах забыли."

Эту Песенку должны затвердить тысячи невольных странников того поколения, той же судьбы. Правда, некоторые, недавние так называемые "Третьи эмигранты", с этим не согласятся: очень уж злыми словами поминают они нашу недобрую, но родную страну...

Что и говорить, эта судьба – печальная, хотя и с относительно счастливым концом – в гостеприимном доме на улице Кью в Вашингтоне, где и я бывал и мед пил...и вопреки поговорке: не текло у меня по усам и в рот попало...

Но без общего пословичного "худа" не было бы и нашего "добра": наше главное драгоценное добро не в том ли, что на чужбинах, как гостеприимных, так и негостеприимных, расширилась наша любовь к Божьему миру, хотя бы, например, к воспетой Татьяной Фесенко американскому Бабьему лету (в раннем ноябре). Или – к далекой Мексике, до которой без нашего эмигрантского худа мы никогда бы не добрались.

Мексика явлена в эпилоге: в капищах древнего Монте-Альбана сапожков и в церкви Соледад в Оахаке. Соледад – это одиночествоющая Богородица (без Младенца Христа). К ней обращены эти стихи Татьяны Фесенко:

*"В Твоей долине как-то легче дышится.
И я молю, склоняясь до земли, —
О Соледад, испанская Владычица,
Нам русские печали утоли!"*

Читатели, прислушайтесь к этим слегка завывающим длинным окончаниям, именуемым дактилическими рифмами ("дышится+Владычица"). Верно, изумили они испанско-мексиканскую Приснодеву: таких молитв Она еще не слышала, но, несомненно, сложила их в Своем сердце...

Длинные окончания (но не рифмованные) были и в русских былинах-старинах. Их (но рифмуя) хорошо обыграл Некрасов ("Огни зажглись вечерние"), а позднее Блок ("По вечерам над ресторанами")... Обыграла их и Татьяна Фесенко — не только в этих, но и во многих других стихах. Вообще дактилические рифмы характерны для поэзии Т.Фесенко и ей удаются.

"Старомодно? — Пусть старомодно..." — сказала о своих стихах Татьяна Фесенко. И ей кажется, что она поет, как "пташка простая". Позволю себе с этим не согласиться. В ее поэзии нет, конечно, так называемого "авангарда", который в наше время зачастую оказывается артергардом, например, в Нью-Йорке, а также в Москве... Но и не пташка распевает ее стихи. Не без творческой "хитрости" делаются дактилические рифмы или другие — перевертны или палиндромы: дорог-город, да и не только это... А главное есть настоящая оригинальность и лирическая свежесть в лучших стихах Татьяны Фесенко.

Сколько меткости в моментальных снимках-наблюдениях: "У старых елей мокрые ресницы..." Другие запоминающиеся образы: "полные пригоршни горя", "Детством пахнувшие цветы", "Дятел в сердце стучит". Или этот "авангард": "И мы, как заправские "хиппи", С тобой улетим в синеву".

Каждый читатель найдет в этом сборнике свои — самые близкие ему — стихи. Мне же особенно запомнился этот "сон" — жутковатый, но с просветом:

*"А коридор этот узкий,
Двери и двери подряд,
Только в конце там по-русски, —
Чудится мне, — говорят."*

Именно в этом волшебном стихотворении задает тон тот "пропуск в былое", которым озаглавлен весь сборник.

Да, в книге немало воспоминаний. Есть и ностальгия. Но, вместе с тем, не верится, что для Татьяны Фесенко былое — лишь то, что было. В лучших ее стихах прошлое воскрешается в настоящем, вне времени, — в конце того коридора, где говорят и всегда будут говорить по-русски.

Гейно Цернаск правильно отмечает в преисловии: первый раздел сборника продолжает "Повесть кривых лет" Т.П.Фесенко, а последний – книгу очерков "Глазами туриста". Она же издала обширное филологическое исследование "Русский язык при Советах", написанное совместно с Андреем Владимировичем Фесенко, и редактировала сборник эмигрантской поэзии "Содружество", в который, к сожалению, не включила свои стихи.

2. ЮРИЙ ИВАСК. З.А.Шаховская. Отражения. Париж, 1975.

"Отражения" Зинаиды Алексеевны Шаховской – книга воспоминаний о встречах с русскими зарубежными писателями трех поколений. Есть в книге живость восприятия и меткая наблюдательность. Есть и доброжелательность. Теория: познания Шаховской основана на симпатии, но без идеализации.

В "Отражениях" немного диалогов, и это – к лучшему. Всякие длинные разговоры в воспоминаниях всегда кажутся неправдоподобными. А короткие – легче запоминаются и потому куда более убедительны. Так, в немногословных репликах Бунина действительно слышишь его голос.

О Бунине же З.А.Шаховская сказала – он, более чем кто-либо, страстно стремился к бессмертию в нашей земной жизни. Как это верно подмечено! Правда, того же самого, и с не меньшей страстностью, хотел Розанов, нисколько на Бунина непохожий.

Хорошо показан и чудачливый, но хитрящий Ремизов. Очень уж любил он прибедняться и отчасти даже жил за счет своего "прибеднения". Но З.А.Шаховская говорит об этом, не укоряя. Она поняла в Алексее Михайловиче и другое: муку одиночества нового подпольного человека Достоевского.

О Б.К.Зайцеве: "В тишости его была непреклонность". И это хорошо подмечено. Именно поэтому Борис Константинович разошелся со старым другом Буниным, ходившим (после войны) в советское посольство, как и многие другие эмигрантские писатели, включая Ремизова.

О Владиславе Ходасевиче: Гроза "желторотых поэтов", большой любитель кошек (и карт), был в общении остроумнейшим собеседником и на самом деле очень внимательно следил за новыми талантами.

Многое верно угадано в Марине Цветаевой. Она шила, штопала, жарила, варила (обычно неудачно), но вопреки своему нищенскому бытию, всегда была в стихии поэзии. Аполлон всегда требовал от нее священных жертв... Это беспрерывное мучительное служение музам вызвало в Зинаиде Алексеевне "священный ужас"... Шаховская цитирует приписку Цветаевой к стихотворению "Роландов Роу":

"Тише, тише, тише, век мой громкий:

За меня потоки и потомки..."

Кажется, это двухстишие никогда не было опубликовано.

Тут же, в связи с Цветаевой, замечу: друг ее — молодой поэт Гронский, не кончил самоубийством, а погиб от несчастного случая на станции парижского метро (об этом мне писала Марина Ивановна).

С Г.В.Адамовичем Шаховская встречалась преимущественно в последние годы его жизни (когда она стала редактором "Русской Мысли"). Видела его "смягченным", а не "ядовитым", как в 30-х годах. Шаховская упоминает о его неожиданной "защите" Достоевского от нападок Бунина, Алданова, Набокова. Предполагаю: в данном случае Адамович скорее всего "защищал" не Достоевского, а был возмущен неубедительностью аргументов этих достоевскофобов.

Некоторый спор, но не в укор...З.А.Шаховская утверждает, что Адамович проглядел Цветаеву и Сирина (Набокова). Дарования их были для него несомненны, но не был он равнодушным и будто бы объективным "литературоведом", издеваясь над самим этим словом... Он был критиком, устанавливающим свои каноны, стиль, вкусы (парижскую ноту). Творческие критики вообще, будь то классики и романтики, символисты и акмеисты (а также и Адамович), часто бывали беспощадны к своим литературным противникам и, тем самым, двигали литературу. Без несправедливостей и пристрастий — нет жизни в искусстве.

Шаховской очень удались беглые характеристики прозаиков Алфéroва, Фельзена, Зурова или незаслуженно забытого, покончившего с собой Болдырева (его книгу "Мальчики и девочки" следовало бы переиздать). Упомянут и Владимир Диксон, англичанин, родившийся в России. Рассказы и стихи он писал по-русски. Цветаева сказала мне: "Диксон был так красив, что страшно было на него смотреть..." Еще поэты: Г.Иванов, Софиев, Ладинский, Поплавский, Кнут, а также С.Ю. Прегель — друг-помощник многих парижских писателей. Хорош портрет Анатолия Штейгера. Был он умен, меток, а капризность некоторых суждений придавала особую прелесть его замечательным письмам: "...деклассированная, разночинная, полужеврейская, безнадежная и чуть сумасшедшая наша монпарнасская среда — мне чрезвычайно мила", — писал Штейгер. Но эту его описку следовало бы исправить: был поэт Кузмин, а не Кузьмин. А "кратчайшие" ранние стихи Штейгера еще дойдут до России.

Не имею возможности перечислить всех литературных встречных-поперечных Шаховской. Это еще Тэффи, Мережковские, Дон-Аминадо. Или же мимолетные знакомства с Вячеславом Ивановым, Осоргиным, Т.Л.Толстой, пушкинистом М.Гофманом, с художниками Ю.П. Анненковым и Марком Шагалом.

Выделяю Евгения Замятина, который избегал встреч с другими эмигрантскими писателями. Но с З.А.Шаховской и С.С.Малецким-Малевиным он часто встречался. Шаховская верно замечает: свою литературную генеалогию Замятин ведет не от Гоголя, как многие думают, а скорее от Салтыкова-Щедрина...

Радостно читать эту умную, доброжелательную, но совсем не "ро-

зовую" (идеализирующую) книгу воспоминаний. Читателю хорошо живется в ее гостеприимном Доме Памяти. Так же хорошо, как ее литературным гостям, которые приезжали в Брюссель для выступлений, устроенных З.А.Шаховской, останавливаясь в ее доме. Это — Сирип, Алферов, Штейгер, Цветаева, Слоним, Дон-Аминадо, Тэффи, Замятин и другие.

Книга написана просто, без метафор, но в нее удачно вкраплены художественно подмеченные мелочи: например, перламутровый абсент...Это запоминается, как и перламутровые щеки селедки в букинской "Жизни Арсеньева". Но подражания здесь нет — только совпадение.

Зинаида Шаховская под псевдонимом Жака Круазе написала четыре романа, семь исторических книг и мемуаров на французском языке. Весь мир читал ее воспоминания о красном Кремле, о Хрущеве и других советских властителях; с ними она познакомилась, когда ее муж С.С.Малецкий-Малевич служил в качестве атташе при бельгийском посольстве в Москве. Эти мемуары очень правдивы и беспристрастны к СССР, но не к России.

ЛЕВ ФАБРИЦИУС. Борис Васильевич Сергиевский. Нью-Йорк, Издательство Русской Академической Группы в США и Союза Кавалеров Ордена Св.Георгия Победоносца, 1975.

Русская мемуарная литература, охватывающая период Первой Мировой войны, может считаться весьма богатой, но, до известной степени, и односторонней, так как авторами воспоминаний являются лица, принадлежавшие к высшему командному составу Российской Императорской Армии.

Книга о Б.В.Сергиевском освещает события Первой Мировой войны с другой точки зрения, и они проходят перед читателем так, как их видит молодой боевой офицер, принимающий в них активное участие.

Эта разница делает книгу живой и интересной, дает возможность читателю самому увидеть поведение солдат и офицеров в условиях боевой обстановки. Здесь невольно напрашивается сравнение с описанием военных действий Первой Мировой войны в советской литературе, всегда старающейся подчеркнуть "кастовую" разницу между офицерами и солдатами Императорской Армии.

В книге о Сергиевском нет этого разделения: и солдаты, и офицеры — это простые русские люди, сознающие необходимость борьбы и защиты их общей родины.

Есть еще одна особенность, отличающая эту книгу от многих, ей подобных мемуарных произведений. Эта особенность — полное отсутствие самовозвращения автора, полное умолчание своих заслуг. Даже в тех случаях, когда он говорит о своем непосредственном участии в операции и читатель понимает, что успех этой операции зависел от решения и инициативы, проявленной самим Сергиевским, то он, читатель, будет тщетно искать подтверждения этого автором.

Так же скромно, без громких слов и патетики, рассказывает Сергиевский о своем переводе в авиацию, о воздушных боях с германскими летчиками.

Революция прервала военную карьеру Б.В.Сергиевского. После кратковременной службы в британской авиации и такой же непродолжительной службы в Белой армии генерала Юденича, Б.В.Сергиевскому удалось эмигрировать в США, где он вскоре стал сотрудником знаменитого Игоря И.Сикорского.

Интересно отметить, что самолет С-35, построенный корпорацией Сикорского и предназначенный для первого перелета через океан (до Линдберга), был построен исключительно по чертежам Б.В.Сергиевского.

В США Б.В.Сергиевский прожил 48 лет, активно участвуя в развитии американской авиации и принимая такое же активное участие в жизни русской эмиграции в Америке, где он возглавлял многие организации и всегда отзывался на нужды русской эмигрантской общности.

Скончался Б.В.Сергиевский 24 ноября 1971 года, после продолжительной и тяжелой болезни.

Друг и постоянный сотрудник Б.В.Сергиевского, полковник Генштаба С.Н.Ряснянский сказал о нем: "Мы видели в нем и в эмиграции крупного общественного деятеля и большого русского патриота, непримиримого к коммунизму."

Русская общественность должна быть благодарна редакторам книги о Б.В.Сергиевском проф. К.Г.Белоусову и полковнику С.Н.Ряснянскому за это прекрасное издание.

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. Ирина Одоевцева. Портрет в рифмованной раме. Париж, 1975.

После "Златой цепи" еще один подарок русскому читателю от Ирины Одоевцевой — сборник стихов "Портрет в рифмованной раме". Он уже вызвал, как говорится, "хорошую прессу". О книге писали Ю.Терапиано и К.Померанцев в "Русской Мысли" и Я.Горбов в "Новом Русском Слове". Писали, справедливо подчеркивая большое значение творчества И.Одоевцевой в целом и поэтические достоинства нового сборника в частности.

В этой книге — не только новые стихи поэта. Многие из них помечены пятидесятыми и шестидесятыми годами. Однако почти волшебное чувство новизны, которым веет от поэзии Одоевцевой вообще, дарует читателю дополнительный оттенок сопереживания прекрасного в искусстве, когда новизна без умышленно дерзких новаций становится устойчивым признаком хорошего тона, оригинальности и чувства меры, слитых вместе неразделимо.

О последнем — о великом чувстве меры, характерном для стихов И.Одоевцевой, следует сказать особо. Это не только ее достоинство как поэта. (В сущности ведь, "чувство меры" должно быть непреложным условием для любого автора). Речь здесь — о большем. Многие из пишущих о творчестве И.Одоевцевой, отмечают ее умение соединять новаторство и хорошую традиционность, быть лиричной и в то же время иронически-элегантной в стихах. Констатируют, как правило, ее принадлежность к модернистскому направлению в поэзии, но без авангардистских крайностей. И все это верно. Возникает, однако, вопрос: с кем же сопоставима подобная творческая позиция, на кого более всего похожа такая манера письма, если говорить не об отдельных совпадениях, перекличках или реминисценциях, а о признаках доминирующих, более устойчивых по фундаментальной сути своей.

Да не покажется сие чересчур претенциозным сравнением, но мне думается, что модернизм поэзии Ирины Одоевцевой более всего похож по способу выражения на поэтическую манеру Эмиля Вертарна. Ее разноstopные и "разнострофные" стихи с переливающимся потоком мысли (вне строгих ограничений какой-либо заданной композиции), с переходами из одной тональности в другую, с ритмической свободой и гибкостью, живо напоминают аналогичные приемы в поэтических полотнах великого бельгийца. Конечно, общий характер поэзии И.Одоевцевой гораздо более субъективен, нежели у Вертарна, но роднят их все-таки и эти внешние признаки, да и содержательные мотивы порой. Рамки настоящей рецензии не позволяют приводить много примеров и потому обойдемся одним, но — характерным: разве в стихотворении "Ночь в вагоне" (посвященном Ренэ Герра) не проскальзывает рефреном повторяемое "пересадка в Вероне" как нечто ассоциативно связанное с тем "антиурбанистским урбанизмом", который столь характерен для Вертарна? Разве не повторяется это про-

тивопоставление урбанистского и, значит, грубо-заземленного начала другому — стихийно земному, природному и, следовательно, духовно значимому, в таких стихах, как "Памяти поэта Сергея Полякова", или в некоторых "Стихах, написанных во время болезни"? Достаточно задать эти вопросы, чтобы параллель между И.Одоевцевой и Э.Верхарном уже не показалась слишком искусственной. (Хотя речь здесь идет, конечно, о более тонкой связи, чем, например, в случае соприкосновений Верхарна и Валерия Брюсова).

Именно то обстоятельство, что модернизм поэзии Ирины Одоевцевой как по внешним приметам стиля, так и по смысловому наполнению, базируется на классическом модернизме верхарновского уровня, на своего рода "симфоджазе" круга модернистской поэтики, свидетельствует о ее великолепно поставленном литературном вкусе, о чувстве меры, позволяющем ей и ввести формальный поиск, и не утрачивать содержательности, и быть оригинальной, и не "оригинальничать" понапрасну. Все предопределено той хорошей соразмерностью поэтического чутья, которое демонстрирует культуру, самобытность мышления и образное постижение мира. "Портрет в рифмованной раме" — образец всех этих качеств.

Олять-таки, апеллируя к частностям, можно приводить примеры разных "сплавов и наплывов" в красочных "позэокадрах" ее стихов: тут будут и романтические картины, и отточенно-афористичные строки, и сюрреалистические образы, и пластично вмонтированные перифразы от Лермонтова до Блока, от ранних символистов до Гумилева. Все будет. (Я.Горбов пишет, например, о "лермонтовском пересказе" в ее строках: "Нет в лазури одиноче Белопарусней меня". Как это ни верно, но думается, что здесь вернее всего было бы подчеркнуть красоту очаровательного неологизма "белопарусность" — великолепная находка на уровне лучших северянских неологизмов! Такого же рода удача обнаруживается и в другой, более прямолинейно-лермонтовской, но и не только лермонтовской, реминисценции: "По синим волнам океанится парус" в стихотворении 1960 года). Но главное все же не в частностях...

Главное в том, что большой поэт русского Зарубежья Ирина Одоевцева продолжает идти своим путем в литературе, умножая традиции лучшего в ней, создавая новые перспективы в ее развитии и демонстрируя чудесным "Портретом в рифмованной раме" явление поэтического чуда в нашей, не всегда, к сожалению, благосклонной к такого рода чудесам, жизни.

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. *Усталая виртуозность.* (Две книги стихов Андрея Вознесенского: "Взгляд". Москва, 1972; "Выпусти птицу!" Москва, 1974).

Эти книги написаны в основном не для канадцев (а тем более, не для русских канадцев), но именно русским канадцам их следует прочесть в первую очередь. Слишком много в них — о Канаде, об Америке, о Торонто и Ванкувере, о людях Канады и ее проблемах. Именитый советский поэт Андрей Вознесенский всей мощью своего, почти всегда форсированного, голоса восклицает и поучает, задумывается и распинается, глагольствует и попросту болтает. О чем? Да обо всем, а зачастую и ни о чем, благо Вознесенский давно определил себе такое место на поэтическом Олимпе, где порою литературная бессмыслица может показаться "новым словом", а перелицеванное старье — подлинным откровением.

Сказать, что Вознесенский пишет хуже, чем писал, нельзя. По-прежнему он тот же высокий мастер поэзии, каким вошел в нее во времена своего литературного дебюта конца 50-х годов. Он однажды придумал себя поэтом (и надо признать, гениально придумал); недаром он архитектор по профессии: взял и сконструировал свое поэтическое бытие, словно некий небоскреб. На высоте он и остался, но мстит ему все же первоначальная "заданность", головная задумка его творчества. И лежит на его нынешних, вроде бы вполне зрелых, по стихотехнике иногда совершенных стихах, отпечаток такой усталой виртуозности изрядно пожившего, поднаторевшего в своем ремесле и несколько скучающего артиста.

Оттого и повторяется он в приемах, композиции, сюжетных поворотах, метафорах. Его легко узнать по излюбленным "технократическим" сравнениям. Блок в свое время хотел "безличное вочеловечить"; Вознесенский даже в лирических излияниях остается конструктором, способным "отехничить" все земное и человеческое. Это типично для него — сказать, что "в наклонившихся ивах...как в волшебных диапозитивах, света плавающие следы..." или: "летом берега целебные, как будто шина, надуваются ольховым светом и серебряным и тито в берегах качаются". (Разрядка моя — А.Г.). По той же причине печатает он заново свои даже явно неудачные вещи, как, например, заумно-риторическую поэму "Лед-69", да еще снабдив ее в книге "Выпусти птицу!" дополнительным "Плачем после поэмы "Лед-69" (сие уже просто — плохое заимствование у Гарсии Лорки).

Случается, что элементарный вкус подводит его, казалось бы, столь искусственного по этой части. Чего, к примеру, стоит такое?

*"Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз!
Но ты меня не узнавала.*

*Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!"*

И это Вознесенский? Скорее — Козьма Прутков на тему: "Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться..."

А как давит на поэта "идеология", как давит! Ведь вот хочется сказать правду, да и можно бы (его и Евтушенко советский режим давно рассматривает как "поэтов на экспорт" — дескать, смотрите, какие мы "либеральные": печатаем почти оппозиционных авторов!); ведь просится на перо горячая строка — ан нет, все полунамеками, все с отходиками в сторону, все маскируясь. В стихотворении, посвященном Маяковскому, крикнул: "Даже герои поэмы "Плохо!" требуют сложить о них "Хорошо!". Что в этом крике? — Намек на то, что некоторые литературоведы в СССР начисто отрицают факт написания поэмы "Плохо!", уверяя, что, мол, такой поэмой следует считать все сатирические произведения Маяковского, вместе взятые, а поэмы "Плохо!", исчезнувшей куда-то, не было и нет. Что же, намек не плох, а стихотворение в целом? Так себе, ерничество, не больше. И рифмы современные не спасают.

Точно так же Вознесенский в стихотворении "Старая фотография" (о революционерке-народнице) довольно нарочито "работает" на многоплановости слова, плохо подсудного советским цензорам:

*"Страшно мне за эти лилии лесные,
и коса, такая спелая коса!
Не готова к революции Россия.
Дурочка, разуй глаза."*

Вот ведь как сказано: "не готова к революции Россия"! Это можно понять (и многие читатели именно так поймут!) как резюме результата революции, а не как спорное предсказание оппонента революционерки. И достаточно смело, и достаточно неясно; и цензору придраться нельзя, и читательскому истолкованию есть где разгуляться! Всем угодил Андрей Вознесенский.

Конечно, его положение — положение большого поэта, вынужденного приспособливаться к советским условиям, нелегко, и во многом он по-человечески не виноват. Но ощущение смысловой фальши в его заклананиях и есть расплата за эту двусмысленную позицию. Из-за нее он вынужден профанировать то, что способно было бы вознести его на пьедестал не только Поэта с большой буквы, но и Человека такой же значимости. В стихотворении "Васильки Шагала", обращаясь к художнику, он восклицает: "Не Иегова, не Иисусе, ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет — Небом Единым Жив Человек." И по существу, это не что иное, как своевольное кокетничанье с религией, ее символикой. "Иегова, Иисусе" — святые имена

нужны ему так, "для красного словца"! И хотя стихи невольно впечатляют, истребить ощущение поэзы, подделки, накачанности религиозных ассоциаций, а не ассоциативности религиозной поэзии, — истребить все это не дано. Стеклярус вместо алмаза остается стеклярусом, даже блистая...

Особенно наглядны удаchi и срывы Вознесенского в его "американо-канадских" вещах. Речь идет о двух больших поэмах: "Ау, Ванкувер!" и "Авось!" Название первой само по себе отчасти расшифровывает сюжет; вторая поэма посвящена жизни Николая Резанова — русского офицера, известного в анналах истории "русской Америки" (в связи с попытками российской колонизации тихоокеанского побережья Нового Света).

Обе поэмы имеют немало формальных достоинств: здесь и наличие изысканной композиции, и блестящие находки в образной структуре, ритме, рифмах, и элегантноe жонглирование "поэзопрозой". Но опять же, как порой все приблизительно в самых, казалось бы, точных и емких словах Вознесенского. Он комбинирует портрет Трудю с рассуждениями о "левых" студентах, причем если в личности Трудю поэтa привлекает молодая артистичность премьер-министра, то в молодежи — усвоенный ею весьма старомодный (хотя и "новейший" с виду) экстремизм. Он произвольно точет соразмерить несоизмеримое. Заслуженное восхищение знаменитым социологом Маршаллом Маклюэном, поэтами Уинстоном Оденом, Ирвингом Лэйтоном, Джоном Коломбо и Робертом Лоуэллом совмещено с апологетикой в адрес ватемальского коммуниста и абсолютно незначительного поэта Роберто Обрегона Моралеса, которого Вознесенский наделяет эпитетом "поразительный".

Автор настоящих строк был знаком в свое время с Обрегеном Моралесом. Это был маленький, фанатичного склада человек с индейскими чертами лица, бредивший идеей "латиноамериканской революции". Его стихи никогда не возвышались над уровнем "общих мест" модернистской испаноязычной поэзии. Сравнить Обрегона Моралеса, как это делает Вознесенский, с Лоркой, Лермонтовым, Маяковским и Есениным, нетактично по отношению к великим именам и неразумно по отношению к читателю. Ведь он и проверить может, сопоставив стихи Обрегона и классиков!

Такой произвол в смысловых критериях и формальных поисках, ставка на эзотерическую многозначность стиха, постоянное тождение на котурнах, искаженность канадско-американских впечатлений, равно как и вообще картин западной жизни, чрезвычайно вредят Вознесенскому. Он словно забывает, что "от великого до смешного только один шаг" и слишком часто этот шаг делает. Обратное вернуться труднее. Даже обладая громадным поэтическим талантом, который нельзя отрицать у Вознесенского, талантом, явно перегруженным усталой виртуозностью его пера.

ЭЛЛА БОБРОВА. Игорь Чиннов. Пасторали. Париж, "Рифма", 1976.

О поэзии Игоря Чиннова уже много писали признанные в эмиграции критики и поэты. Не претендуя на какие бы то ни было "открытия", мне хочется рассказать читателям "Современника" о своих собственных впечатлениях от знакомства с новой (шестой) книгой его стихов "Пасторали", затронув и пятую книгу — "Композиция" (на страницах нашего журнала отзыва о последней не было).

По внешнему виду "Пасторали" — небольшая (112 стр.), изящно изданная книга, мне симпатичней "Композиции" с ее экстравагантно-картонными страницами. Обрадовало меня и отсутствие в новой книге издевательского гротеска (хотя юмор мне, кажется, не чужд), но об этом речь пойдет дальше.

В "Пасторали" вошли 60 стихотворений, написанных после "Композиции", и 40 из второй книги стихов — "Линии". Посему для многих читателей "Пасторали" (как и "Композиция", куда вошли стихи из "Монолога") — двойной подарок.

При знакомстве с поэзией Игоря Чиннова у меня, признаюсь, иногда "дух захватывает" от его эрудиции: он одинаково "дома" в истории, мифологии, религии, философии и мировой поэзии. Почти каждому стихотворению предпослан эпиграф, который, как бы отраженным светом, помогает лучше понять мысли, выраженные в строках и между строк его стихов. В конце книги даны очень точные поэтические переводы этих эпиграфов из немецких, французских и английских поэтов.

Когда-то в детстве я мечтала быть "приговоренной к заключению" в...библиотеке, где, увы, осталось столько мною не прочитанных книг. О том, что Игорь Чиннов никакого "срока заключения" не отбывал, говорят его поэтические описания красот Италии, Греции, Мексики, Англии и других стран, где ему, повидимому, удалось побывать. Как, читая его стихи, ему позавидуют многие современные поэты в России, для которых заграничная поездка — недостижимая мечта!

Россия...В названных выше сборниках поэта "гражданственной" поэзии в общепринятом понимании я не нашла. Но тем более щемяще действуют заключительные строки стихотворения на стр. 77 ("Композиция"):

"Надо бы хоть уткой туда доплыть —
Ну, да что говорить, о чем говорить!

Сказано — нет, и — сколько лет, сколько лет!

Нет и нет, а на нет — и суда нет."

В сборнике "Пасторали" есть строка: "Россия...Я все позабыл — так спокойней" (стр. 75 — "Линии"). Отражает ли она настроение автора? Игорю Чиннову вообще свойственна сдержанность в выражении чувств: в стихах его я не нахожу ни ликования радости, ни взрывов отчаянья или гнева. Созерцание и раздумье характерны для большинства его стихов.

"Невеселые стихи насмешливого поэта", — подумала я, перечитывая стихи "Композиции", запомнив строки "дни мои, бедная горсточка риса" (стр.36), "иное нездешнее горе, как счастьем, пронзает меня" (стр.40); или, например: "Слушай, ты веришь в темную мифологию счастья" (стр.116). В этом вопросе невеселое неверие, и недаром он заканчивает это стихотворение словами: "...в руке у меня Тускловатый кусок философского камня печали".

Что касается его "гротескных" упражнений, то он ими как бы старается залушить мысли о "темноте и немоте". Этот раздел "Композиции", названный "Галлюцинации и аллитерации" мне наименее близок:

"Ну и ну, ну и дела, как сажа бела, тра-ла-лала.

А ночь светла, а коза ушла, эх, бутылочка по жилам

по-тех-ла".

.....
Ау, моя коза. Чепуха хандра. Ха-ха-ха-ха."

Цитирую только несколько строк, чтобы объяснить мое отталкивание от этого раздела, в который поэт, к счастью, умно вкрапил стихи из "Монолог". На стр.28 есть строки: "Идут под барабан солдаты...Они ни в чем не виноваты, Но их убьют..." Печаль "виолончельно-ясно" слышится на протяжении "Композиции", и самому поэту, кажется, ближе другой, более молодой, Игорь Чиннов "Монолог", без "кра-кра, шимимор, кикимор и квакванов" (стр.11,16,19,21,31).

Эти страницы напомнили мне молодого канадского композитора "авангардного" направления: новатор, объясняя скрипачу, как добиться новых звучаний струны колодкой смычка, воскликнул: "это не должно звучать красиво!"

К счастью, Игорь Чиннов относится не к такого рода "авангарду": красоту он видит, чувствует, размышляет о ней и воспевает ее. И делает он это так, что его стихи не "перелистают, не читают". Мне кажется, поэт клеветает на себя в своих иронических признаниях, что стихи лишь были "полузабавой и — полумученьем". Не могу согласиться и с критиком, сказавшим, что поэзия Игоря Чиннова "умственная". Я не верю, что можно описывать, не прислушиваясь к голосу сердца, "пышный зной" в "огромном царственном торжественном саду", спокойно отодвинуть тучи и сказать: "...Ни про мою беду, Ни о твоей беде — не стану." (Стр.112). А в следующем стихотворении, воспевая недолговечно-розовую красоту заката, дополнить: "О, восхитись хоть ими на мгновенье!"

Не имею возможности здесь остановиться подробнее на стихах сборника "Пасторали". Думаю, что мои, может быть, иногда спорные, впечатления заставят читателя приобрести книгу и составить свое мнение о поэзии Игоря Чиннова. Но процитирую полностью стихотворение, которым он открывает эту книгу:

Говорила Муза:

Многим ты
Любовался: морем, розой, птицей.
Красота... За нежные цветы
Думаешь над бездной уцепиться?

Не спасешься. Бездна – суждена.
Но пока – из чувства и – искусства
Приготовь-ка сладкого вина,
От которого приятно-грустно.

Ты узнал "на жизненном пути,"
Что бывают в мире диссонансы.
Чтож? и диссонансы преврати
В нежно-элегические стансы.

Да, не без иронии порой,
Звуками и красками играл,
Утешай поэзией-игрой,
Радужной сонатой полурая.

О прекрасном, нежном – о любви,
О весне – ведь не одни печали –
Напиши нежнее, назови
Книжку сладко-сладко: "Пасторали".

ГАЛИНА ГИДОНИ-РУМЯНЦЕВА. Татьяна Мандельштам-Гатинская. Пламень жизни. Стихи. Париж, б.г.

Симпатичные стихи, симпатично изданная книга... Таково общее впечатление от сборника Татьяны Мандельштам-Гатинской. Голос поэтессы негромок, но пишет она с той степенью оригинального видения, которое дает ей право, подобно Мюссе, "пить из маленького, но своего стакана". На этом, собственно, ассоциативная связь с классическими поэтами прошлого века кончается. Т. Мандельштам-Гатинская по тематике и способу выражения — автор сугубо современный. И если уж подыскивать ей параллели среди образцов, ее вдохновляющих, то это — Блок, Гумилев, Г. Иванов, Есенин.

Стихи Мандельштам-Гатинской преимущественно носят "личный" характер. Они навеяны достаточно конкретными воспоминаниями (см.: "Баллада о Севастополе", "В "Шайтан-Дэре" или посвящения Леониду Ганскому). Но есть у нее и философические размышления, и абстрагированные зарисовки более "объективистского" свойства. Что лучше ей удается? Трудно ответить с полной определенностью, поскольку поэтической техникой она владеет и в состоянии благодаря этому любой, даже тривиальный сюжет, сделать относительно значимым.

Однако здесь имеется опасность впасть в ту холодность и некоторую неестественность поэтической поэмы, расплатой за которые является риторика и, как следствие, — охлажденность читательского восприятия. В отдельных стихах поэтессы не избежала этого.

"Я просила у Бога счастья, Не желанного, не земного, И дано мне надземной властью Озаренное рифмой слово", — хорошо сказала о себе Т. Мандельштам-Гатинская (стр. 47).

Когда она пишет, не изменяя этому "озарению рифмой", то получаются стихи чеканные, полные душевной экспрессии и лирической красоты. Они, эти стихи, хорошо сопрягаются с естественными для нее темами любви, материнского счастья, религиозного опыта. В них больше всего поэтических находок (например, стихотворения "Словорезенок", "Черная пантера", "Колыбельная", "Окна"). Но изменяет иногда Мандельштам-Гатинской чувство меры. И появляются почти эпигонские стихи. Разве эти строки: "Не жалею, и ни в чем не каюсь, Жизнь такая мне не по плечам..." — не буквальный почти перифраз знаменитого есенинского "Не жалею, не зову, не плачу..."? Добро бы, это было сознательное противопоставление, умышленный прием, как, например, использованное пушкинского "И от судеб защиты нет" в стихотворении на двадцатой странице сборника. В данном случае, однако, все стихотворение оказалось написанным как странная стилизация "под Есенина". Такой же упрек можно сделать стихотворению "Венера", где гумилевское "На Венере, ах, на Венере..." непонятным образом определило строй этого, прямо скажем, не очень понятного стихотворения.

Конечно, сделанные замечания не меняют того общего вывода, к которому естественно приходит любой читатель: в лучших своих стихах Татьяна Мандельштам-Гатинская дает образцы высокой поэзии, отмеченной лирическим талантом, и глубокого, доброго по сути своей, взгляда на жизнь.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В следующем номере журнала "СОВРЕМЕННОК" будут широко представлены разделы художественной прозы, публицистики, мемуарной литературы, поэзии, критики и библиографии.

Нам гарантируют свое сотрудничество и содействие многие известные авторы русского Зарубежья, а также канадские писатели и журналисты.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА предоставит в распоряжение журнала отрывки из своих мемуаров "На берегах Сены".

Профессор Г.Н.ЖЕКУЛИН выступит со статьей о "чешских" стихах Марины Цветаевой.

Профессор В.И.СЕДУРО предоставил статью о Солженицыне в связи с традицией полифонического романа Достоевского.

Мы предложим читателям публицистику ПЕТРА БАЛАКШИНА и ЛЕОНАРДА ГЕНДЛИНА.

Будут опубликованы статьи БОРИСА НАРЦИССОВА об Атлантиде и ГАЛИНЫ ГИДОНИ-РУМЯНЦЕВОЙ об итальянских циклах стихов Каролины Павловой и Александра Блока.

В "Современнике" будут печататься поэты: ИГОРЬ ЧИННОВ, ЮРИЙ ИВАСК, ЭЛЛА БОБРОВА, ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР, АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ и другие.

Мы рады также содействовать открытию новых литературных имен.

Пишите в наш журнал, читайте его и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на наш независимый, русский "СОВРЕМЕННОК"!

ХРОНИКАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА.

Не в правилах Редакции "Современника" вступать в полемику по какому-либо частному поводу. В данном случае, однако, мы вынуждены сделать исключение.

Сотрудник нашего журнала Александр Гидони подвергся нападкам политического характера со стороны некоторых лиц — любителей нездоровых сенсаций. В связи с этими нападениями он выступил со специальным "Заявлением", опубликованном в газете "Новое Русское Слово" 27 января 1976 года. В нем он вкратце сообщил о своей политической борьбе против советского режима в прошлом, опровергая одновременно инсинуации в свой адрес. Как известно Редакции журнала, "Заявление" Александра Гидони вызвало положительный и дружелюбный отклик среди многих людей, как лично знающих его автора, так и только слышавших о нем.

Однако 25 марта 1976 г. Э.Штейн выступил в газете "Русская Мысль" с письмом, где в замаскированной форме пытался "подстегнуть" опровергнутые инсинуации. При этом приемы полемики г-на Штейна, которого редакция журнала частным образом информировала в свое время обо всем этом деле, нельзя назвать безупречными. Исходя из вышеизложенного, Редакция "Современника" решила опубликовать следующее письмо Александра Гидони.

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ.

Письмо Э.Штейна я расцениваю как враждебный выпад против меня лично, против редакции журнала "Современник", частично и против газеты "Новое Русское Слово", поскольку г-н Штейн — человек, внимательно читающий зарубежную русскую прессу, сознательно делает вид, будто никакого моего заявления в "НРС" не было. Такой прием в полемике является — пусть замаскированной — но передержкой, и, к сожалению, г-н Штейн одной только этой передержкой не ограничивается.

Э.Штейн цитирует одно из мест статьи В.Осипова, содержащее ложную информацию и обвинения против меня. В настоящее время я не хочу полемизировать с самим Осиповым по этическим соображениям, поскольку этот человек находится в тюрьме. Однако с г-ном Штейном полемизировать можно и должно.

Замечу в этой связи, что цитируя Осипова, г-н Штейн не приводит оговорки самого Осипова в отношении меня, когда он, смягчая свои обвинения, вынужден признаться в "с обственной неточности" (книга "ВСХСОИ", стр. 107). И уж, само собой, Э.Штейн не желает принять во внимание резюмирующей реплики Осипова, весьма многозначительной, на мой взгляд: "В освещении дела ВСХСОИ я был, конечно, субъективен и пристрастен". (Там же, стр. 121. Я ссылаюсь на то же издание, которым пользовался г-н Штейн).

Я уверен, что имей В.Осипов возможность познакомиться с моим

заявлением в "НРС" от 27 января 1976 года, оно заставило бы его, как минимум, признать другие свои "неточности". (Замечу тут же, что я и Осипов лично никогда не были знакомы, не встречались друг с другом, и Осипов пользовался слухами и предположениями, высказанными другими людьми, так что вся ситуация напоминает игру в "испорченный телефон"). А вот манера полемики г-на Штейна похожа на дурную шахматную комбинацию, ибо если человек уже нечто знает, но умышленно делает вид, что не знает этого (случай г-на Штейна, который хоть бы спорил, что ли, с моим заявлением, говорил о его недостаточности и т.п.), то такой человек не спорит во имя истины, а "комбинирует" в споре, пытаясь пешку своего тщеславия провести в ферзи полемической "победы" – победы любой ценой, во что бы то ни стало. А истина для него не более, чем та самая пешка, которой и пренебречь можно при случае.

Э.Штейн недоволен журналом "Современник", который в биографической справке обо мне указал, что я был "одним из первых политических диссидентов "поколения 1956 года", был в заключении с 1956 по 1960 гг. и что "в 1974 году в письме на имя Подгорного отказался от советского гражданства по политическим мотивам, заявив о себе как о стороннике Солженицына и Сахарова". Что ж, может быть, все это неправда?.. Тогда пусть г-н Штейн оспорит это, и я был бы лишь признателен ему за новое для меня самого освещение аспектов моей собственной биографии. Не входя в подробности, отмечу, что я, например, написал *два* письма Подгорному по политическим мотивам, копии которых в свое время предоставил в распоряжение Самиздата, и содержание этих писем известно не только мне и референтам г-на Подгорного. (Я не льщу себя надеждой, что сам Подгорный читал мои письма). Разумеется, я не могу в данный момент называть публично имена людей, соприкасавшихся с этим делом, даже рискуя оставить любознательность г-на Штейна неудовлетворенной.

В заключительной фразе своего письма в "Русскую Мысль" Э. Штейн противопоставляет журнал "Современник" и "разгромленный", по его выражению, журнал "Вече", в свое время редактировавшийся В.Осиповым. Повторяю, что не собираюсь сейчас полемизировать с Осиповым, но ведь хорошо известно, что журнал "Вече", который не был подпольным журналом, а издавался с ведома КГБ в городе Александрове Владимирской области, прекратил свое существование в результате разброда и полемики в его редакции, когда то Осипов обличал и отлучал своих бывших товарищей по журналу, то они – Осипова. Кончилось дело тем, что вместо журнала "Вече" стал издаваться (также под надзором КГБ) журнал "Земля". Разобраться во всех перипетиях этой истории довольно трудно, однако об этом знают и в Самиздатовских кругах СССР, и в эмиграции. Зачем же пользоваться драматическим словечком "разгромленный" в отношении издания, репутация которого во многих отношениях очень двусмысленна? Не затем ли, чтобы лишний раз, в свойственной г-ну Штейну манере скрытых передержек, вводить в заблуждение читателей?

В своем заявлении в "НРС" от 27 января сего года я уже изложил свою позицию в отношении распространяющихся против меня слухов. Добавлю, что в ближайшем будущем – надеюсь – выйдет в свет моя автобиографическая книга "Солнце идет с Запада", которая, как я уверен, будет достаточно интересной для многих читателей и которая положит конец кривотолкам и разного рода инсинуациям. Я сознаю, что человек, вовлеченный в политику, должен принимать выпады против него, в сущности, как должное. Но точно так же, как должное, он обязан верить в конечное торжество истины и справедливости. С этой верой я жил и живу.

Александр Гидони
3 апреля 1976 г.
Торонто.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Отдел Славянских языков и литератур при университете штата Массачусетс сообщает о создании ЦЕНТРА по изучению новой русской литературы. *Члены-учредители:* профессора ЛАСЛО ТИКОШ, ЮРИЙ ИВАСК и доктор УИЛЬЯМ ЧАЛЗМА.

ЦЕЛИ НАШЕЙ РАБОТЫ:

1. Собираание материалов по новой русской литературе.
2. Сохранение и изучение литературных архивов "Третьей" эмиграции, "Самиздата", а также всей зарубежной русской литературы.
3. Организация семинаров, лекций, постоянных курсов и симпозиумов по изучению этой литературы.
4. Широкая информация по вопросам новой русской литературы в специальном бюллетене или в других публикациях.
5. Помощь по изданию этой литературы.

Рукописи, посылаемые в наш ЦЕНТР, остаются собственностью авторов, за которыми будут сохранены все права по изданию.

ЦЕНТР приглашает всех заинтересованных лиц обращаться к нам за справками, просит присылать нам рукописи для хранения в архиве и приветствует все предложения или указания по вопросам изучения новой русской литературы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПРОСИМ ПО АДРЕСУ:

Professor Laszlo M. Tikos
Head of Department
Slavic Languages and Literatures
University of Massachusetts
Amherst, Mass. 01002

ОТ РЕДАКЦИИ.

Редакция журнала считает необходимым довести до сведения читателей и сотрудников, что по сравнению с прошлым годом положение журнала значительно улучшилось. Если в начале 1975 года у нас не было уверенности в возможности сохранить "Современник" из-за полного отсутствия средств, то в настоящее время, благодаря постоянно увеличивающемуся числу подписчиков, Редакция надеется, что ей не только удастся сохранить журнал, но и довести его выпуск до 4 номеров в год.

Предлагаемый нашим подписчикам № 30-31 является в полном смысле двойным: он содержит более 200 страниц печати.

Осенью предполагается выход ординарного 32-го номера объемом около 130 страниц текста. Нашей ближайшей задачей является выпуск 4 ординарных номеров журнала в год или одного двойного номера и двух ординарных.

В связи с годовщиной кончины многолетнего самоотверженного редактора "Современника" ВАЛЕРЬЯНА ЛУКЬЯНОВИЧА САВИНА, последовавшей 3 апреля 1975 года, Редакция решила почтить заслуги покойного перед зарубежной русской литературой проведением литературного конкурса памяти В.Л.САВИНА. Подробности конкурса будут сообщены в 32-м номере "Современника" и в зарубежной прессе.

В заключение Редакция обращается к подписчикам, авторам и читателям журнала с просьбой помочь ей обеспечить дальнейшее существование и развитие журнала "Современник". Рекомендуем Вашим друзьям подписываться на "Современник"! Посоветуйте библиотекам университетов, где Вы работаете, подписаться на наш журнал! **БОЛЕЕ 200 УНИВЕРСИТЕТОВ СВОБОДНОГО МИРА ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМИ ПОДПИСЧИКАМИ.**

При ВАШЕМ СОДЕЙСТВИИ, дорогие читатели, "Современник" может стать одним из ведущих литературных и общественно-политических журналов Зарубежья.

РЕДАКЦИЯ

О Г Л А В Л Е Н И Е

Содержание на английском языке	3
Л. ФАБРИЦИУС. Со щитом. Повесть.....	5
АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. Дон Жуан. Роман в стихах..	55
ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН. Губерт в стране "чудес"....	140
ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. На меня с недавних пор.....	145
АНДРЕЙ ДРУЖИНИН. Я уйду за Гумилевым.....	146
ЭЛЛА БОБРОВА. Ирине Одоевцевой. "Предо мною необычный портрет."	147
А. ШИМАНСКАЯ. Стихи	149
Ю. МАЛИНОВСКАЯ. Размахнувшись, ветер.....	150
ИРИНА БУШМАН. Слава?.....	151
З. ДУБНОВ. Я боюсь не случайно.....	152
П. БАЛАКШИН. Шаман в лаковых ботинках. Г.Д.Гребенщиков.....	153
ЮРИЙ ИВАСК. Стихи.....	158
В. ВОРОНЦОВСКАЯ. Помпея.....	160
КЛАВДИЯ ПЕСТРОВО. Стихи.....	161
ОЛЕГ КОЗИН. Стихи.....	162
А. ЦВЕТИКОВ. К драконограммам Мигуева- Звездухина. (О поэзии Бориса Нарциссова).....	164
С. ТОЛ. Я вижу, опять потянуло.....	166
М. МЮЛЛЕР-ГЕННИНГ. Песня о зареве.....	167

Л. КУЗНЕЦОВ. Рисует ночью кисть.....	168
Т. МАНДЕЛЬШТАМ-ГАТИНСКАЯ. Русский вальс...	169
А. ГНУТ. Две вариации.....	170
От Редакции (К выходу "Истории Канады" М.Могилянского).....	172

КАНАДА

ЭЛЛА БОБРОВА. В лучах северного сияния.....	174
ЭЛЛА БОБРОВА. Судьба наследия Золя.....	176

ПЕРЕВОДНОЕ

ЮРИЙ ГРИГОРОВ. Поль Верлен.....	179
Хертрудис Гомес де Авельянеда.....	180
Эрике Гонсалес Мартинес.....	181
Л.АКАСТРОВ. Густаво Адольфо Беккер. Три стихотворения.....	182

БИБЛИОГРАФИЯ

Юрий Иваск. Две рецензии: 1. Татьяна Фесенко. Пропуск в былое. 2. З.А.Шаховская. Отражения. *Лев Фабрициус.* Борис Васильевич Сергиевский. *Александр Гидони.* 1. Ирина Одоевцева. Портрет в рифмованной раме. 2. Усталая виртуозность. (О стихах Андрея Вознесенского). *Элла Боброва.* Игорь Чиннов. Пасторали. *Галина Гидони-Румянцева.* Татьяна Мандельштам-Гатинская. Пламень жизни.....184–199

О содержании следующего номера.....	199
ХРОНИКАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА.....	200
Объявление Центра по изучению новой русской литературы.....	203
От Редакции – читателям.....	204

В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ.

Редакция журнала "СОВРЕМЕННОК" по случаю приближающейся Двухсотлетней годовщины Независимости Соединенных Штатов Америки шлет свои поздравления читателям, нашим соотечественникам, живущим в США, гражданам этой великой страны, всем друзьям Америки и Свободы.

Мы глубоко убеждены в том, что каковы бы ни были сложности переживаемого нами современного политического периода, существование сильных и процветающих Соединенных Штатов является фактором, полезным для мира и демократии во всем мире. Страна, всегда отстаивавшая идеалы Справедливости, Человеческого Достоинства и Прогресса, страна, давшая истории таких лидеров, как Вашингтон и Линкольн, Вильсон и Кеннеди, создавшая могучую цивилизацию и демократические традиции, была, остается и должна оставаться в будущем оплотом свободного мира в его борьбе против тоталитаризма всех видов и разновидностей.

Мы от души желаем этой великой стране счастья и процветания; просим Бога помогать ей и ее народу. Мы надеемся, что это — общее желание всех читателей русского независимого журнала "С О В Р Е М Е Н Н И К".

РЕДАКЦИЯ.

Copyright by Sovremennik Publishing Association, Inc.
9 Garnet Ave., Toronto, Ont. Canada.

Subscription price for institutions \$15.00 per year.
Individual subscription \$10.00 for 4 issues.
Senior citizens - 20% discount.
Single copy - \$2.50, (double issue - \$5.00).

Make cheques or money orders payable to
"Sovremennik" Publishing Ass'n, Inc.,
9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G - 1V6